

Група
наблюдателів
11



2008/2

Життєпис Спрєднєшє



SHOUT **IT**
SHARE



- Юрий Котлов



Юрий Котлов

Мои осколки

* * *

Отделение находилось на пятом этаже, почти на небесах, и я, отдав толстой коротконогой медсестре свои вещи и сунув ноги в огромные, разного цвета и размера шлепанцы — на одном было написано: «отд. 18», на другом: «отд. 44» — стал подниматься за ней по влажной, только что, видимо, вымытой лестнице. Лифт не работал.

Коротконогая толстуха несколько раз нетерпеливо нажала на кнопку вызова, но потом, когда лифт все-таки не прибыл, смачно выругалась и, устало переваливаясь с ноги на ногу, брезгливо сжимая в руках мою одежду, покарабкалась по лестнице наверх.

Я подумал, что ругательства предназначались мне, а вовсе не лифту. Я был наряжен в полосатую пижаму, словно узник концентрационного лагеря или приговоренный к казни на электрическом стуле разбойник. Влажная лестница блестела. Ноги разъезжались, словно на льду, шлепанцы из холодного дерматина то и дело слетали.

На площадке между первым и вторым этажами я обернулся. Мать стояла внизу и жалобно смотрела мне вслед. Глаза у нее блестели. Я улыбнулся ей, а она, улыбнувшись в ответ, махнула мне рукой, а потом быстро поднесла ее к лицу, к часто заморгавшим, блескующим, как только что вымытая лестница, глазам. Я расплакался и снова поплелся за медсестрой.

Сквозь лестничные окна я видел, как мать вышла из приемного отделения и пешком, сюда нас привезла «скорая» из детской поликлиники, очень медленно, пошла по ледяной дорожке на остановку. Кругом стояли голые деревья. Потом она оглянулась, и я помахал ей рукой. Она меня не увидела, окна были очень маленькие, в решетках.

Слезы продолжали катиться по моим щекам, от жалости к себе, к матери. Я плакал тихо, часто моргая и кривя губы, стараясь не всхлипнуть, — толстуха на меня не оборачивалась, упрямо и равнодушно ползла ввысь, на пятый этаж, в отделение гематологии, прямо к Господу Богу, куда меня направили после обследования в детской поликлинике. Мне было тогда 12 лет, я

заболел. Заболел быстро и странно. У меня кровоточили десны, шатались зубы, ноги покрылись сыпью, а при каждом прикосновении на теле появлялся здоровенный синяк, — последнее почему-то меня не столько испугало, сколько заинтересовало, и я успел этим похвастаться в школе. Задира́л рукав и показывал, как от несильного тычка пальцем на коже появляется темно-синее пятно. Зубы у меня шатались здорово, словно штакетины в гнилом, разваливающемся от старости заборе, первое время есть нормально не мог — факт, парочку коренных выплюнул в школьной столовой в тарелку с резиновыми макаронами, а Килька, мой ехидный одноклассник, пророчески воздев руки к небу, на всю столовку провозгласил: «Сдохнешь ты скоро, Котел! Царство тебе небесное!» И до того радостное выражение при этом было написано на его веснушчатой физиономии, что мне жутко сделалось. Умирать мне не хотелось.

Дело было в начале зимы 1982 года, и мне, не находившему в учебе особого удовольствия шестикласснику, болезнь пришлось даже по вкусу, несмотря на мрачный оттенок, оставленный словами Кильки. Перспектива провести какое-то время в больнице меня, честно говоря, сначала обрадовала, но потом, когда я сунул ноги в эти холодные, как могильная земля, шлепанцы, разного размера и из разных отделений, когда я поплелся наверх за толстой медсестрой, а плачущая мать осталась внизу, мне по-настоящему сделалось тоскливо. Уж все-таки лучше сидеть на уроках, скучать, получать свои тройки и украдкой плевать из трубочки жеваной бумагой в портрет Тургенева под потолком, чем скользить по влажной лестнице в полосатой пижаме, нервничая от предстоящей встречи со Всевышним. Так я подумал тогда.

На пятом этаже мы долго шли по длинному и пустынному коридору, пока не уткнулись в дверь с надписью: «Отделение гематологии». Все, пришли, понял я.

Толстуха протиснула свой зад в дверной проем, распахнув одну из дверей, ту, на которой была табличка. Я прошмыгнул следом и тут же в ноздри мне ударил отталкивающий запах, — каждое учреждение имеет свой собственный запах, школа, столярный цех или там насосная станция. Стерильный запах больницы я чувствовал, когда еще поднимался по лестнице, но здесь, за этими, возможно, последними в моей жизни дверями, пахло, как мне показалось, особенно неприятно — едкий запах хлорки, горьких лекарств и кипяченых шприцев смешивался с кладбищенским запахом свежеокрашенной ограды и церковным запахом дымящегося ладана. Позже я нашел этому простое

объяснение: стены в ординаторской были только что окрашены в голубой цвет, потому и воняло краской, а табачный дым, напоминающий благовоние ладана, исходил из мужского, прокуренного насквозь туалета. Позже, да. Но, очутившись на пороге этого отделения впервые, я интуитивно почувствовал характерный запах смерти, имевший мало общего с безобидным запахом районной детской поликлиники. Это был страшный и удушливый смрад грудных клеток, небрежно вскрытых в городском морге, тлетворная вонь зарытых неглубоко в землю мертвецов, смоляной дух новеньких гробов, приторный аромат формалина. И я, идущий на казнь мальчик. У стены стояли две каталки, на каких обычно перевозят тяжелобольных.

Я опасливо покосился на эти каталки, вытирая полосатым рукавом слезы. Привкус крови во рту усилился. Кончиком языка я потрогал один из верхних зубов — он еле держался, но пока еще был на месте.

Наконец толстуха обернулась, улыбнулась мне криво и дружелюбно. Как змея.

— Принимай, Тонь!

Толстуха бесцеремонно бросила на стол мои вещи и поковыляла обратно. Я остался. За столом сидела и раскладывала в пластиковые стаканчики таблетки молодая девушка, тоже в белом халате и высоком колпаке.

— Вот дура! — тихо сказала девушка, и я догадался, кому предназначались эти слова. У девушки были зеленые глаза, над верхней губой родинка. — И как ее здесь держат! Садись на стул. Ты что, плакал? Как тебя зовут? Юра? Юрок, плакать нельзя. Ты же мужчина. Сейчас определим тебя в палату.

Непонятно, в какую палату она собиралась меня определить. Несколько человек лежали в коридоре, на кушетках, под которыми в сумках лежали вещи и стояли баночки для мочи.

Мужики, взрослые, лежали в коридоре на этих кушетках. Молча смотрели на меня, ребенка. В детской больнице отделения гематологии не было, потому меня привезли сюда, к взрослым, но скоро я заметил, как из одной палаты вышел мальчик, примерно моего возраста. С любопытством посмотрев на меня, он пошлепал куда-то по коридору. Под мышкой у него была зажата шахматная доска.

— Посиди, я сейчас...

Медсестра Тоня отправилась по палатам искать мне койку. Не нашла. Палаты были женские и мужские. Девочки лежали с женщинами в женских, мальчики с мужиками в мужских. Какой-то отдельной детской палаты не было. В мужских свободных коек не было. Кушетки в коридоре тоже заняты. Меня определили в

женскую палату.

— Устраивайся, Юрок, — дружелюбно сказала Тоня. — Пока здесь побудешь, потом переведем.

Я молчал. Не знал, что ответить.

Сунул пакет с вещами под подушку и лег на кровать. Слезы продолжали катиться по щекам, и чтобы никто их не видел, отвернулся к стене.

Больниц я не боялся. За свою короткую двенадцатилетнюю жизнь успел побывать в них три раза.

В первом классе, вернее, когда я закончил его, на каникулах, меня сбил мотоцикл. Был первый день каникул, солнечный летний день, и я, счастливый, торопился поскорее выбраться из рейсового автобуса. Мать, бабушка и я приехали в деревню Владимировка. Она за городом в десяти километрах, раньше здесь жили и мы, мать, живой еще отец, сестра моя, бабушка, я. Жили в мрачном бараке, потом родители получили в городе квартиру. Сейчас здесь жил с семьей мой дядя, мамин брат. Жили они не в бараке, своем домике, маленьком, держали свиней, овец, кур. Была собака, Мухтар, и был сад с яблонями и вишнями, малинник был, черемуха, березка перед домом, а за деревней речка. У дяди и его супруги было четверо детей, две дочери, два сына, все старше меня намного, но были мы очень дружны, и особенно дружил я с самым старшим Колей, у него был велосипед, и он катал меня на скрипучем багажнике, сзади. И камера у него была огромная от трактора, летом он накачивал ее насосом, и на ней можно было плавать, как на лодке. И удочки у него были, и с собой он брал меня всюду, и на рыбалку, и горох с колхозного поля воровать, и был он очень добрым, безотказным, и я никак не мог понять, почему все считают его неполноценным, глупеньким. Когда ему было лет пять, девочки постарше накормили его беленой. Он едва не умер, но с тех пор стал, как все говорили, не в себе. Из школы-интерната, куда его отдали, он сбегал, и когда родителям это надоело, они махнули на него рукой. Читать и писать он так и не выучился, не умел считать деньги, но зато практически все хозяйство лежало на нем — свиней кормить, сено заготавливать, овец в стадо выгонять, картошку окучивать, огурцы поливать, воду из колодца таскать, да мало ли в деревне дел?

И вот, счастливый от предстоящей встречи с Колей, с сестрами, с собакой Мухтаром, я нетерпеливо выскочил из автобуса и, не дождавшись матери с бабушкой, рванул через дорогу. И угодил под колеса мотоцикла с коляской. Как мне потом рассказывали, меня отбросило далеко в кювет, а очнулся я уже в коляске, на коленях у матери. Перепуганный мотоциклист

остановился, погрузил нас к себе в коляску и повез в больницу.

В коляске я очнулся, а в приемном покое и вовсе расхрабрился, предлагая матери отправиться домой, то есть снова в деревню. Мне сделали снимок головы, и выяснилось, что у меня легкое сотрясение, а рядом со мной, возле рентген-кабинета, сидел тоже с мамой мальчик, ровесник. Его отправили в магазин за хлебом, а какая-то шпана пыталась мелочь у него отобрать. Как Буратино, он спрятал монеты во рту, а потом нечаянно проглотил. Теперь сидел и ждал, когда ему просветят желудок. А его мама все спрашивала: может, ты их не проглотил, может, они у тебя в одежду упали, и без конца шарила у него в рубашке и брюках.

В больнице меня тогда оставили на десять дней, и на второй этаж, в отделение, меня сопровождала молоденькая медсестра. Я здорово хромал, и она спросила: «Ты ногу ушиб или тебе сандалии малы?» Я ответил, что малы сандалии. Постеснялся почему-то сказать, что ногу мне здорово отшибло мотоциклетом.

Водитель несколько раз приходил ко мне в палату и приносил фрукты, хотя и не был ни в чем виноват.

Второй раз я лежал в больнице с воспалением легких, а еще — самый первый раз, когда мне было лет пять. В Москве, у родственников отца, гостили с матерью. И жили они на девятом этаже, и летом от жары все окна и балкон были открыты, и я, малыш, ходил по дому босиком, и на полу, на ковре, не заметил то ли пчелу, то ли осу. Наступил, она ужалила, и я быстро покрылся весь сине-бурыми пятнами. Родственники отправили меня в больницу почему-то в Кологрив, к бабушке Дуне, приемной матери моего отца, и в этом Кологриве, в больнице детской, я пролежал тогда почти месяц.

Так что больниц я не боялся, привык и к уколам и к таблеткам. Но в этот раз чувствовал себя почему-то особенно неуютно. За окном тоскливо выл ветер, голые ветки высоченных тополей скребли по замерзшему стеклу, а я лежал в женской палате, лицом к стене, и тихо плакал.

* * *

В палате было шесть коек и семь человек вместе со мной. Одна женщина у окна лежала с грудной малышкой. Она подошла ко мне со своей малышкой на руках, наклонилась и спросила:

— У тебя есть мама?

— Да, — ответил я сквозь слезы.

— Хочешь, я поговорю с врачом, чтобы ей разрешили

остаться с тобой? А что? Поставят еще койку, для нее, и ты уже не будешь плакать.

Я не понял, шутит она или говорит всерьез. Поэтому ответил:

— Нет, не надо.

— Тебе сколько лет?

— Двенадцать.

— Двенадцать? Это много. Тогда вряд ли врач разрешит. Моей Машеньке восемь месяцев, и потому я с ней. А ты почти взрослый, плакать нельзя.

Малышка на руках у нее заплакала, и она стала рассказывать по палате, укачивая ее.

Другая женщина спросила, как меня зовут. Я ответил. Потом достал из-под подушки свой пакет. Порывшись в нем, вытащил библиотечную книгу «Таинственный остров» Жюль Верна. Рос я слабым, часто простывал, и пока другие ребята занимались в секции бокса и гоняли на улице футбол, валялся дома с температурой и кашлем. Потому и неудивительно, что чтение сделалось моим любимейшим занятием.

Читать выучился я очень рано, к четырем годам выбрал из имевшихся дома книг почему-то «Чапаева» Дмитрия Фурманова и пытался по слогам осилить первую страницу, — на ней до сих пор остались пометки карандашом. Каждый абзац заканчивается жирной галочкой, если кому-то интересно.

А в пятилетнем возрасте, когда с матерью гостили в Москве, и когда меня ужалила оса, уже бойко читал «Незнайку на Луне» Николая Носова. У московских родственников не просто было много книг, у них была библиотека, — эту детскую книжку Носова я отыскал среди толстенных томов Большой Советской Энциклопедии, и не расставался с ней до самого дня, пока меня не отправили в Кологрив, в больницу, покрытого пятнами после осинового укуса. Книжка была добротная, с белоснежными листами и иллюстрациями практически на каждой странице. Детей у родственников не было, все взрослые, и я надеялся, что эту книжку подарят мне. Надежды не оправдались, не подарили. А родственники были, по нашим меркам, богатые. Неродная сестра моего покойного уже к тому времени отца и ее муж, ветеран войны. Оба они работали в КГБ, занимали какие-то руководящие должности, и у них я впервые увидел цветной телевизор, — дома, в Саранске, у нас был черно-белый «Таурас». И на стенах, на коврах, висели у них охотничьи ружья, и мне нравилось, забравшись на кровать, трогать холодную оружейную сталь. И еще помню, что на обед у них всегда были жареные цыплята, целый противень доставали из духовки, а на нем — штук двенадцать небольших цыплят, покрытых хрустящей коричневой

корочкой, посыпанных черным перцем и мелко нарезанным чесноком. И аромат от жареного мяса и специй по всей трехкомнатной московской квартире...

Открыв книжку, я не просто читал «Таинственный остров», я сопереживал героям Жюль Верна, путешествовал вместе с ними, был рядом во время приключений и опасности. В любой момент был готов подставить им свое хрупкое, покрытое синяками плечо. И понимал, что наверняка в мире нет ничего прекраснее и удивительнее книги. Вроде бы обычные листы бумаги, покрытые буквами, словно букашками. Но писатель — маг и волшебник — однажды составил буквы в слова, слова расставил в нужном магическом порядке, и теперь расшифровать это волшебство, привести в действие заклинание доступно каждому, кто выучился читать. Да, вот оно, это так просто! Стены больничной палаты раздвигаются и исчезают. Вместо незнакомых соседей по палате рядом с тобой надежные товарищи — такие же искатели приключений. Вместо скрипа пружинной койки ты слышишь, как океанские волны разбиваются о берег таинственного острова, а над головой твоей свисают не электрические провода с абажуром и лампочкой на конце, а тропические лианы... Неизвестность не пугает тебя. Ты знаешь, что все будет хорошо. В волшебном и удивительном мире не может быть иначе.

Я читал до десяти вечера. Заглянула медсестра Тоня, улыбнулась мне и сказала:

— Отбой. Всем спокойной ночи.

* * *

Утром был обход. Пришла врач, молодая женщина по имени Наталья Николаевна. И каждый, к кому она подходила, спрашивал:

— Наталья Николаевна, какой у меня гемоглобин?

А женщина с малышкой спросила:

— У Машеньки что, Наталья Николаевна? Гемоглобин не поднялся?

Когда очередь дошла до меня, я почему-то тоже решил спросить про гемоглобин.

Наталья Николаевна внимательно посмотрела мне в глаза, затем велела снять пижаму и потрогала мои синяки.

— Ты знаешь, что такое гемоглобин? — спросила она.

— Да, — ответил я. — Он входит в состав крови.

— Ученый, — улыбнулась она. — Но у тебя проблема не с гемоглобином.

— А с чем?

— Тромбоциты, — ответила она и стала расспрашивать, как я заболел.

Я принялся подробно рассказывать. Рассказал и про то, как меня ужалила не то оса, не то пчела в пятилетнем возрасте. Мне казалось, есть какая-то связь между той болезнью и этой. Синяки на теле, кровь из десен, было много общего.

— Да-да, я знаю, — сказала Наталья Николаевна. — Читала историю твоей болезни. Сдашь сегодня еще раз кровь, мочу, а потом посмотрим, что тебе назначить. Забыла, как твоя фамилия...

— Котлов, — подсказал я.

— Да-да, Котлов, — повторила она и вышла из палаты.

Среди женщин в палате была одна девочка постарше меня. Звали ее Надя.

— Котел, — сказала она и засмеялась.

— Прекрати, Надь, — сказал ей кто-то из женщин. — У человека имя есть. Очень красивое. Юра.

— Котел — смешнее, — ответила она.

Я промолчал. В школе меня тоже так дразнили. Котел так Котел. Ничего удивительного. Если бы была фамилия Сундуков, дразнили бы, разумеется, Сундуком. Комиссаров из нашего класса был Комиссаром, Петухов — Петухом, а девочка Цулина — Цулькой.

Потом все стали обсуждать результаты анализов. Надя молчала. Наталья Николаевна ей ничего не сказала. Я вышел в коридор, хотелось увидеть вчерашнего мальчика с шахматами, но его нигде не было. Обход еще не закончился.

За столиком вместо Тони сидела другая медсестра.

— Так, новенький, — сказала она. — Далеко не уходи, позову тебя скоро на укольчик.

Я ответил: хорошо. Уходить далеко я не собирался, некуда было уходить. И не стал выяснять, что за укольчик, хотя и сказала Наталья Николаевна, что сначала нужно сдать анализы, а потом уже она посмотрит, что назначить.

Послonyaвшись по коридору, вернулся в палату.

Кто-то из женщин стал переодеваться, деликатно попросив меня отвернуться.

Я лег на свою койку и снова отвернулся к стене. Крашеная стена была в трещинках. Я подумал: интересно, что сейчас Коля делает? Зимой, конечно, во Владимировке не так замечательно, как летом, но тоже здорово. Сугробы под крышу. К колодцу и в туалет ведут узкие тропинки, расчищенные от снега. На кухне — прожорливая печка-голландка, которую Коля подкармливает

углем и коричневыми брикетами прессованного торфа. Морда у Мухтара покрыта инеем, в миске — лед. По субботам банный день, топят баню дровами, и дым из трубы столбом, белый, и пахнет иначе, чем от угля или торфа. В доме — кошка с котятами, а в задней избе (две комнаты в доме, и одну из них называют передней избой, другую — задней), в углу, этажерка с книгами. Недалеко от деревни городская свалка. Два раза в день, утром и ближе к вечеру, когда привозят мусор, многие деревенские с самодельными тележками отправляются на свалку и роются в мусоре, выискивая недоеденный хлеб и другие пищевые отходы, чтобы кормить свиней. Коля тоже ходит. Ходят и дядя, и жена его, тетя Маруся, и сестры ходят, Наташа и Валя, и приносят со свалки не только пищевые отходы. Что угодно на свалке можно найти, многие деревенские одеваются там, притаскивают в дом вполне добротную мебель. Почти все книги и журналы на этажерке со свалки. Летом с Колей хожу на свалку и я, потому как там много воронья и запросто можно увидеть здоровенных крыс. Последний раз я нашел на свалке большущий альбом с коллекцией почтовых марок, и не мог поверить, что такое сокровище мог кто-то выбросить специально.

Единственный, кто брезгует ходить на свалку, мой двоюродный, а следовательно Колин родной брат — Вовка. Он отращивает усики, каждый день наглаживает стрелки на брюках, чтобы щеголять перед девочками, рыжеватые волосы красит в черный цвет, и скоро ему в армию.

Потом за мной пришли, из зимней, в сугробах, Владимировки отправили в процедурную, где я сразу заподозрил неладное. Велели на кушетку лечь боком, и еще пришли две медсестры, и одна стала держать мне ноги, другая руки и верхнюю часть туловища, и я, вывернув шею, увидел, что третья держит в руках огромный шприц с огромной, очень толстой иглой. Шприц был пустой, да и не видел я никогда, чтобы уколы делали такими.

— Потерпи, — сказали мне, протерев ваткой поясницу, там, где позвоночник, а затем, прежде чем почувствовать боль, я услышал страшный хруст собственных позвонков и хрящей.

Я терпел, хотя захотелось закричать, завывать, и я, стиснув зубы, только жалобно скулил. И, наверно, я терял сознание, потому что плохо помнил происходящее, помнил лишь боль, и еще, когда меня отпустили, снова увидел шприц — наполненный очень темной, черной почти, кровью...

Мне велели немного полежать, потом посидеть на кушетке, а затем я отправился к себе в палату. Я, как старик, еле передвигал ноги, голова кружилась.

В палате меня встретили сочувственно, все уже все знали, и,

когда я лег на кровать, стали возмущенно друг с другом разговаривать: «Пункцию взять — это не шутки! Обязательно надо разрешение родителей!» — «Да от нее запросто инвалидами становятся, ноги отказывают». — «И пришел сам, главное, бедный. Я слышала, потом должны привезти на каталке». — «Значит, надо так. Для того и берут спинномозговое вещество, чтобы убедиться в диагнозе». — «Эх, жизнь...» — «Да какая у него, мальчишки, жизнь? Еще не начиналась...»

Я уснул. Спал сном глубоким и мрачным. Снился мне черт, с копытами, рогами, молчаливый, серьезный. Будто прогуливаемся мы с ним по берегу какого-то озера, и будто бы он, нечистый, — мой друг...

Проснувшись, я не мог встать с кровати: крови вытекло много, и она, пропитав сзади насквозь и трусы, и пижаму, и простынь, засохла. Сцепила одежду с постелью, словно клеем. Поерзал, помог руками — отодрался. Сел на кровати. Хотелось в туалет, но сил идти не было, и неудобно было в перепачканной кровью одежде. Потом все-таки решился, встал и на ватных ногах поплелся по коридору в туалет, — на посту сидела медсестра, та, сказавшая, что позовет меня на укольчик, и которая орудовала огромным шприцем.

Равнодушно взглянула, потом, когда я прошел, сказала в спину:

— Как чувствуешь себя?

— Хорошо, — ответил я, еле передвигая ноги.

Вечером пришла мать. Ей дали что-то вроде пропуска, в палату нельзя, лишь до коридора на нашем этаже между отделениями. Мы встали у окна, сумку она поставила на подоконник.

— Как дела, сынок? — спросила.

— Пункцию взяли, — сказал я, по разговорам в палате узнавший название процедуры. — Трусы надо другие, и штаны от пижамы испачкались.

Я повернулся спиной, и мать, увидев мою окровавленную одежду, ахнула и заплакала. Обняла меня, прижала, а я заплакал вместе с ней.

— Домой хочу, — сказал я, наплакавшись. — До Нового года выпишут?

А мать все плакала, не могла остановиться и ничего не отвечала.

Потом подошла и встала рядом полная женщина в пальто с меховым воротником, такой же дорогой меховой шапке горшочком, — мать моя была одета очень скромно. Не было у нее денег, чтобы наряжаться и следить за модой, работа тяжелейшая

— стерженщицей — ящики неприподъемные ворочать и землей формовочной набивать, пенсия у бабушки 12 рублей, тут не разгуляешься. Да и нас кормить, поднимать: сестра старшая почти невеста, вот ей наряды нужны, и со мной одни траты — сама кусок лишний не съест, лишь бы мне, а в больницу и вовсе. Времена — кругом дефицит. Хорошо, что подружка у нее заводским буфетом заведует, нет-нет, что-нибудь подкинет. Но опять же — не бесплатно...

В руках меховой женщины сумки большущие, понятно, что тоже кого-то пришла навестить. И оказалось, того самого мальчика с шахматной доской из моего отделения. Сейчас в руках доски шахматной у него не было, были какие-то маленькие бутылочки, которые он вручил своей матери, а она ему взамен — такие же, но наполненные какой-то мутной оранжевой жидкостью.

Мне мать вместе с гостинцами принесла в бутылочке воду, потом, когда мы остались одни, умыла меня ею, велела немного выпить.

— Что это, мам? — спросил я.

— Водичка наговоренная, — сказала она. — Бабушка одна, которая лечит, дала. Завтра тебе трусы принесу другие, и трико. Потерпишь?

— Да, — сказал я.

Когда я отправился обратно в палату, мальчик прогуливался возле поста, под мышкой — шахматы. Я понял: меня ждет. Я отнес в палату все, что принесла мать, и мы познакомились.

— Саша, — сказал он и протянул руку.

— Юрий, — пожал я ему руку.

— Тебя вчера положили?

— Да.

— А я месяц здесь, и еще раньше лежал. У меня кровь не в порядке, эритроциты не в норме, и лимфатические узлы здорово увеличены. Хочешь потрогать?

Мне не хотелось, но я потрогал у него под ушами, там, где он показал, — жесткие здоровенные шишки.

— А у тебя что? — спросил он.

— Тромбоциты, — ответил я. — А в палате почти у всех — гемоглобин. Меня в женскую пока положили.

Мы нашли в коридоре закуток со столиком, кушетками и цветами в горшках. Расставили шахматы, и он сразу же выиграл у меня несколько партий. Я умел просто играть, то есть знал, как какая фигура ходит, и все, а он ловко ставил мне детский мат. Я бездумно гнался за фигурами, а он опытно и хладнокровно жертвовал то коня, то слона, и следом ставил шах и мат. Так ни

разу и не выиграл у него. Потом опять стали говорить о болезнях, словно старики, и, в общем, это он говорил, я старался помалкивать, хотя и хотелось очень рассказать про пункцию и про то, как появляются на теле синяки от несильного прикосновения.

— Мне тетя сок приносит, — сказал он, — из разных фруктов и овощей. Очень полезный, говорит. Сама делает, а потом наливает в бутылочки, из которых малышей кормят. Тетя Ирина, ты видел ее.

— Я подумал, это твоя мать.

— Нет, тетя Ира.

Мы бросили играть в шахматы — только разговаривали, и больше говорил Саша, потому как за месяц в этом взрослом отделении наверняка соскучился по сверстникам. Я узнал, что фамилия у него Горшков, что мать и отец тоже навещают его, но тетя Ира — чаще. И что он отличник, хотя и постоянно пропускает из-за болезни, и что мечтает стать водителем грузовика.

Я рассказал, что отца у меня нет, что учусь я плохо, ленюсь, хотя все учителя и говорят, что я способный, и что кем стать, пока еще не решил. То есть сначала, как и все, хотел быть космонавтом, потом милиционером, потом перешел и им быть и подумывал, чтобы стать писателем, сочинять интересные книжки, потому что, видимо, это и есть самое интересное занятие — сочинять интересные книжки, но пока еще точно не решил.

— Я тоже люблю читать, — сказал Саша. — Но вот сочинять не пробовал. Ты про что сочинял?

— Да так, — скромно сказал я. — Придумал продолжение приключений Незнайки. Записал все это в тетрадь толстую, и здорово намучился, потому что писал печатными буквами, чтобы было как в книге, и рисунки сам рисовал. Сейчас дочитываю «Таинственный остров» Жюль Верна. А перед этим читал Беляева, «Голова профессора Доуэля». А в школьной библиотеке в прошлом году брал книжку «Борис Картавин», автора не помню, так вот там еще продолжение должно быть, но в школе не было, а почитать очень хочется. Тебе не встречалась такая, не читал? «Борис Картавин».

— Нет, — ответил Саша.

— Жаль, — сказал я. — Очень интересная. Про войну. Про то, как немцы оккупировали город, а Борис этот Картавин — мальчик, как мы, и он всякие козни с друзьями строил фашистам, а потом они забрались к немцам в склад, где у них лежали посылки, и вытащили оттуда несколько ящиков. А в одном — пистолет. Правда, не читал?

— Да нет же, — улыбнулся Саша. — Но здесь где-то, в

больнице, библиотека есть. Давай сходим завтра, и, может, там есть.

Время близилось к отбою, и мы, договорившись назавтра после отбоя идти искать больничную библиотеку, разошлись по своим палатам. Он, зажав под мышкой шахматы, пошел в свою мужскую взрослую, я похромал — в женскую.

* * *

Обход на другой день проходил весело. День был солнечный, окна выходили на южную сторону, и стены палаты, недавно выкрашенные мрачной казенной краской, были украшены, словно картинами, прямоугольниками света. И картины эти, свет этот, щедро лежали на полу, кроватях наших, и ветки голых деревьев за окном, заслоняя свет, писали замысловатыми движущимися иероглифами прямо по этому свету. Настроение у женщин было приподнятое, и даже Машенька, малышка, не плакала, как обычно.

Наталья Николаевна тоже была приветлива, улыбалась, была залита этим светом. Посмотрела мне спину, велев приспустить окровавленные трусы (кровь со спины я успел оттереть поутру в туалете), сказала: «Ничего, все будет нормально».

Надя, чуть старше меня, но, в сущности, тоже ребенок, единственная, кто был в палате грустным.

— Наталья Николаевна, когда меня выпишут? — хмуро спросила она.

— Как ты себя чувствуешь? — вместо ответа спросила Наталья Николаевна.

— Хорошо. Я и так уже сколько пропустила, скачусь ведь на тройки.

— А ты хорошо учишься?

— Я отличница, а без меня уже несколько новых тем прошли. Не представляете, как тяжело будет догонять. Я и так уже попросила родителей, чтобы учебники принесли. Сколько мне еще лежать здесь?

Женщины принялись шутить над Надей, говоря, что нашла, дескать, из-за чего переживать, из-за уроков. И начали, подмигивая мне, приводить в пример меня: вот, дескать, Юрок не переживает из-за школы, а наоборот — радуется, что каникулы себе устроил. И я, расхрабрившись деньком солнечным и подбадриваемый женщинами из палаты, позабыл про трусы окровавленные, про зубы свои шатающиеся, про кровь из десен, про вчерашний страшный «укольник», стал бойко утверждать, как

я несказанно рад тому, что прохлаждаюсь здесь вместо того, чтобы на уроках париться. Наталья Николаевна вышла, так и не ответив Наде, когда ее выпишут. Надя ни с кем больше разговаривать не стала, повернулась лицом к окну, а скоро пришла медсестра делать ей переливание. Два пол-литровых флакончика с кровью. На флакончиках — группа крови и имя человека, которому когда-то принадлежала эта кровь.

Я подождал Сашу и, когда он вышел из палаты, мы отправились искать библиотеку, отправились в свое путешествие, потому как, по сути, библиотека была только причиной, поводом, а на самом деле мы были всего лишь детьми, мальчишками двенадцатилетними, и нам хотелось познавать и открывать. Можно было спросить, любая медсестра в отделении сказала бы, где находится библиотека, но мы не спрашивали, искали сами, путешествовали, и нас, мальчишек в больничных пижамах и шлепанцах, нигде ни о чем не расспрашивали, ниоткуда не прогоняли, и нам только того и надо было. В хирургии мы увидели покойника. Накрытый с головой простыней, он лежал на каталке, в коридоре, возле лифта, рядом никого не было, и нам совсем не было страшно, или, может, просто храбрились друг перед другом, но решили, пока никто не видит, взглянуть на мертвеца. Приподняли простынь, и увидели худое лицо старика с редкими седыми волосами и чопорно сжатым ртом. Потом отправились дальше.

И, возможно, именно это путешествие заложило фундамент для сна, который преследовал меня спустя двадцать с лишним лет: вроде бы я блуждаю по больничным коридорам, и везде народ, старые, немощные, калеки, и мне вроде, чтобы попасть на улицу, нужно обязательно пройти через отделение, наполненное мертвецами. Мне приходится протискиваться боязливо через эти ужасные мертвые тела, и все равно вроде я никак не могу выбраться. Вроде бы и лестниц много, и много отделений и выходов, но мне почему-то обязательно нужно пройти именно через это отделение — с мертвецами...

После хирургии мы спустились в хирургию гнойную, потом через урологию попали в терапевтическое отделение, потом оказались в каком-то пульманологическом, а потом и вовсе вышли в справочную, на первый этаж. Нам попадались лаборатории, кабинеты флюорографии, толпы практикантов в белых халатах, но библиотеку так и не нашли. Саша рассказывал про свою старшую сестру, я — про свою. Он со своей жил дружно, я со своей — как кошка с собакой. Рассказывал я ему про Владимировку, про свалку, как там замечательно и чего только нельзя отыскать, а он удивлялся, как это можно копать в мусоре

и помоях. И рассказывал, что в шахматы играет хорошо потому, что занимался в секции шахматной и имеет какой-то там юношеский разряд. И опять говорил, что станет обязательно водителем, потому что любит автомобили, и ему один родственник, водитель грузовика, давал порулить. И сам он даже сцепление выжимал и переключал скорости.

А потом Саша спросил:

— Ты правда мертвых не боишься? Тот старик, под простыней... Иногда я боюсь, что усну летаргическим сном, а меня примут за мертвого и похоронят. Страшно проснуться в гробу, под землей...

— В нашем доме хоронили однажды старика, — сказал я. — Ходил с клюшкой хоккейной и бородой белой, а потом умер. Когда привезли и открыли гроб, внутри были стружки и опилки, полный гроб был, и их вывалили прямо у подъезда. Старика похоронили, а они все валялись. А когда отец у меня умер, я не помню, как его хоронили. Все родственники всегда спрашивают, помнишь ли отца, а я совсем ничего не помню. Очень маленький был еще.

— А знаешь, как можно черта увидеть? — спросил Саша. — Нужно ночью чего-нибудь поесть, а потом выглянуть в окно, и свет нельзя включать.

— И что?

— Увидишь. Только свет нельзя включать и обязательно нужно поесть, тоже в темноте.

— А ты сам пробовал? — спросил я.

— Нет, но рассказывал один мальчик, который пробовал.

Я ответил, что это глупости, потому как, чтобы увидеть настоящему, надо действительно поесть, а смотреть надо не в окно, а выйти в поле чистое, и чтобы луна была полная. И мне тоже это рассказывал мальчик, и вот он уж точно видел, потому что живет в деревне — а там поля вокруг, не то, что в городе. И надо, чтобы еще с собой палец чертов был. Он за ним и придет.

Спорить мы не стали, потому что знали все это со слов, сами-то в таких экспериментах не участвовали, и, как говорится, слава Богу. Но однажды сестренки мои двоюродные и подружки их затеяли спиритический сеанс, и я тоже присутствовал, тоже держал над бумажным кругом иголку, подвешенную на нитке. На бумаге по кругу — буквы, весь алфавит, и цифры, от нуля до девяти, чтобы складывать их в ответы. И мы вызывали духи Пушкина, Ленина и еще разных покойных знаменитостей, и действительно, задав вопрос, получали ответ. Глупости, правда, спрашивали. Сестренки с подружками интересовались женихами, спрашивали духов, когда выйдут замуж, — спросил и я, как будут

звать мою жену. И получил лаконичное: «Вера». Не то имя, не то надежда.

Так и не найдя библиотеку, вернулись в отделение. И в эту ночь я проснулся от какого-то звука. Занавесок на окнах не было, луна светила ярко. Я увидел Надю, которая сидела на кровати и покачивалась. Все остальные спали.

Я подошел, позвал. Она ничего не ответила, продолжая покачиваться и как-то странно всхлипывать, и это был не плач, что-то другое, страшное...

Я позвал медсестру, все проснулись, переполошились, медсестра вызвала дежурного врача, и пока ждали его, Надя металась по своей кровати, уже не всхлипывая, а крича и взвизгивая — словно боролась с кем-то невидимым. Всю ночную сорочку она перепачкала собственными экскрементами, был запах, а она все металась, борясь с невидимым существом, по кровати, а мы все стояли вокруг нее и наблюдали...

Пришел врач, заспанный, и выгнал из палаты в первую очередь меня, потому что был он не из нашего отделения, и не знал, что я лежу в женской палате, а большинство женщин сами покинули палату.

Я сел на посту и слушал звуки, доносившиеся из палаты, и как разговаривали женщины возле закрытой двери.

— Ей переливание делали, а у нее температура была, — шепотом сказала одна. — Я слышала, что нельзя переливание делать с температурой.

— Да о чем ты говоришь, — ответил другая, с малышкой на руках. — У нее белокровие...

К утру Надя умерла.

Я сидел все это время в коридоре, и видел, как толстуха, которая привела меня в отделение, выкатывает из палаты каталку с телом, накрытым белой простыней, и лицо толстухи было дружелюбное, улыбающееся, не то что когда меня сюда вела. И возле лифта она оставила каталку, а сама куда-то уковыляла, потому что лифт опять не работал. Наверно, отправилась электрика искать, мастера по лифтам. На посту медсестра на кусочке желтой клеенки жирно написала ручкой: «Н.Ямбаева, 16 лет, диагноз — острый лейкоз». И привязала эту клеенку к ноге мертвой Нади. Веревочка была длинная, и кусочек клеенки выглядывал из-под простыни.

Толстуха приехала на лифте, с мастером, починившим его, и вдвоем они затащили каталку в лифт.

Я из любопытства торчал рядом.

Лифт с шумом поехал вниз, как в преисподнюю...

А ближе к обеду пришел отец Нади. В накидке белой вошел, поздоровавшись со всеми, и остановился посреди палаты. В руках — сумки с фруктами, гостинцами и учебниками для дочери. Я хорошо запомнил его глаза: растерянные, ничего не понимающие. Улыбка еще с лица сойти не успела, а в глазах уже появилась тревога, потому что кровать, та, его дочери, была застелена чистой постелью, сверху покрывало, на ней подушка бочком в наволочке белоснежной, с черным зловещим штампов в углу: «Отд. гематологии». И это было странным. Дочь не выписали, и переводить никуда не собирались, вчера была здесь, лежала, поджав колени, с книгой, а сегодня ее почему-то нет. И книга — вот она, на тумбочке, и открытка вместо закладки торчит из нее, а дочери нет. И самое главное: свежестеленная ничейная кровать.

И он смотрел на эту постель, а мы все в палате испуганно смотрели на него.

Наконец он спросил:

— А... Надя где?

И лица у всех сделались еще испуганнее, потому что никто из нас не ожидал этого вопроса. Мы-то все уже знали, где она.

Мама малышки Машеньки решила взвалить непосильную ношу на себя.

— А вам ничего не сообщили? — спросила она тихо и деликатно.

— Нет, — так же тихо ответил отец Нади. — А что должны были сообщить?

— Надя ведь умерла...

И сумки с гостинцами выпали из рук взрослого, здорового мужчины. Он больше спрашивать ничего не стал, постоял несколько секунд, развернулся и вышел. А сумки остались на полу.

Пошел ли он потом к врачам или сразу отправился домой, — может быть, в морг, взглянуть на свою дочь и убедиться, что она действительно мертва, а не кто-то пошутил, — этого я не знаю, и человека того не встречал больше в своей жизни. Но глаза, его глаза, тревожно смотрящие на пустую постель, я не могу забыть и по сей день. И такова природа человеческой памяти. Иное вроде бы важное событие забываешь на другой день, и ничто не в силах тебя расшевелить, чтобы заставить вспомнить. Но другая вроде бы мелочь так вшурупится в сознание, что вытащить ее и выбросить не под силу при всем желании. И всегда что-то будет тебя провоцировать, что-то будет стимулировать, чтобы ты —

вспомнил. Для меня это — только что застеленная постель, покрывало и белоснежная подушка сверху бочком. Сразу вспоминаю глаза того человека.

Когда он ушел, женщины разговорились. Жалели его, жену — мать Нади, Надю и самих себя.

— Это все от экологии, — сказала одна. — На весь наш захолустный городок столько промышленных гигантов. А ведь это — ртуть, свинец, яды всякие, но кто нам говорит? У меня подруга живет рядом с Медпрепаратами, так у ее десятилетней дочери проблемы по женской части, представляете? На учете у гинеколога стоит, представляете?

— Да, — сказала другая, — я это хорошо представляю, потому и здесь. На ламповом работаю, со ртутью. Зарплата хорошая, и вредность идет, но все, кто, выйдя на пенсию, хочет пожить еще, продолжают работать. Все так пропитались этой ртутью, что без нее организм уже не может обходиться, требует. Кто после пенсии не остается, год-два, и на кладбище...

— А тебе далеко, вроде, до пенсии, — заметил кто-то.

— Да вот, не дотянула...

— И радиация. От нее все. Травят людей где нарочно, а где по недоразумению.

— А может, Бога гневим? Мало кто верит, оттого и напасти все.

— Я тоже так думаю, — сказала мать Машеньки. — От экологии все это. Родственники живут в Гагре, у моря, и что? Никто ничем не болеет. Потому что ни одного завода нет, ни одной фабрики. А у нас? — кивнула на спящую Машеньку. — Не успела родиться, уже букет хронических заболеваний. Вытянет ли это?

Двадцать пять лет спустя, на отдыхе в Абхазии, в Гагре, я вспомнил слова этой женщины, когда с отравлением попал в местную больницу. Огромное и пустое здание, с пустынными гулкими коридорами. Привез меня туда таксист, и потом полчаса я бродил по этому пустынному зданию, прежде чем отыскал приемный покой и дежурного врача. И за время, пока слонялся по гулким коридорам, встретил всего двух больных: такого же отдыхающего, ногу сломавшего, и молодого местного парнишку, который привез жену рожать. Тоже слонялись по коридорам в поисках врача. И потом, уже в пустом отделении кишечных инфекций, где я оказался единственным больным, от меня всю ночь не отходила дружелюбная медсестра-абхазка. Мы разговаривали, она рассказывала о войне с грузинами, о победе, о родственниках погибших, и еще, помню, я спросил: бывает ли так, чтобы больница была переполнена?

— Нет, — ответила она. — Местные редко болеют. Горы, море. Благодатная земля...

И я подумал, что, да, у нас в Мордовии нет ни гор, ни моря, но, возможно, земля наша тоже была когда-то благодатная, до тех пор, пока не понастроили десятки вредных предприятий, каждодневно выбрасывающих в воздух тонны свинца, ртути, испарений гальванических цехов. Трубы в небо и трубы в реки, отовсюду — яд. А ведь когда-то — нетронутые леса, реки кристальные, в которых водилась даже стерлядь. Сейчас леса — свалки неопределенного и подозрительного на вид промышленного мусора, в мутных речушках купаться запрещено, и водятся в них мало похожие на рыбу медлительные мутанты с огромными животами и слизью вместо чешуи. Кто знает, обойди нас когда-то индустриализация стороной, и, возможно, девочка Надя была бы жива. Да, может быть, не будь труб, не было бы вообще этого отделения гематологии, переполненного людьми. И толстухи той, отвозящей мертвецов в преисподнюю на скрипучей каталке...

* * *

Мне выписали таблетки, гормональные препараты, и от них я здорово стал поправляться — щеки появились пухлые, лицо округлилось, хотя я всегда был очень худеньким. Но и дела мои тоже пошли на поправку — десны кровоточить перестали, сыпь прошла, и синяки от малейшего прикосновения перестали появляться. Да я и сам приободрился. Каждый день мать привозила мне водичку наговоренную, я пил, умывался. Саше тетя Ира продолжала приносить сок в маленьких бутылочках.

Таблетки давали три раза в день, и пил я их после завтрака, обеда и ужина — за раз по двенадцать таблеток, всего в день — тридцать шесть штук. И как Робинзон Крузо, делая зарубки, считал дни, проведенные на острове, я считал, сколько выпил таблеток. Тридцать шесть и тридцать шесть — семьдесят две. В неделю — двести пятьдесят две. В середине ноября умер Брежнев, всем отделением смотрели в двадцать первой палате балет, слушали тоскливую музыку, а меня все не выписывали. Саша лежал дольше меня, но его тоже не собирались выписывать. Мы играли в шахматы, путешествовали по больнице, нашли библиотеку, но оказалось, она закрыта в связи с ремонтом. Я дочитал «Таинственный остров», начал «Трех мушкетеров», принесенных мне матерью. Достала через свою подругу, заведующую буфетом. Шикарный бежевый том в золотой рамочке

— «Библиотека приключений и научной фантастики». Дома у меня уже было несколько книг из этой серии, и «Мушкетерам» я был несказанно рад. Меня перевели в мужскую палату.

А в отделении нашем продолжали умирать. Выписывали кого редко. Малышку Машеньку выписали с мамой, но через несколько дней они вернулись.

Помню парня лет двадцати пяти, которого положили опять же по причине переполненности палат в коридор, на кушетку напротив поста, где я любил отираться возле медсестры Тони. С ним была молоденькая жена, и привезли их из какой-то дальней деревни, где он работал трактористом. До кушетки он еле дошел, держался за жену, одетую просто, по-деревенски, а под кушетку сложили свои вещи и множество сумок — видно, собирались остаться здесь надолго, и жена с ним. Он сел на кушетку, а жена ушла к сестре-хозяйке за постелью. Я смотрел на парня, он на меня, а пальцы держал возле рта. Сначала я не понял, для чего он это делает, но, оказалось, прижимал ватку к деснам. Потом захотел ее выбросить, а некуда, и жены нет, он посмотрел по сторонам, высматривая, куда бы ее пристроить, а потом говорит мне, протягивая свою ватку:

— Отнеси, пожалуйста, выброси.

Я подошел, а ватка вся пропитана кровью так, что и взять невозможно, к крови не прикоснувшись. И брать противно, и человек смотрит, ждет, ватку свою протянув. Пересилил себя, взял, отнес в туалет и выбросил, руки потом долго мыл с мылом. Жена принесла постель, постелила на кушетку, на стул рядом поставила бокал с ложкой, под кушетку баночку для мочи, сама устроилась в ногах, потому что для нее кушетки не полагалось. Поздно вечером парень умер на своей кушетке. К утру кушетка была свободна, жена его сдала постель обратно и покинула со всеми своими сумками и вещами отделение. Толстуха проскрипела каталкой, забирая очередного мертвеца.

Еще помню пожилого шустрого старика, ветерана войны, с медалями на пиджаке. Он играл с нами в шахматы, бегал курить в туалет то и дело, рассказывал медсестрам, как воевал, уважителен и обходителен был с врачами, но постепенно слабел. И курить бегал реже, и с нами в шахматы играть, а потом и вовсе перестал из своей двухместной палаты для ветеранов выходить. Три дня — и за ним приехала толстуха, как бы говорящая: «Что я говорила? Сюда своим ходом, обратно — на моем драндулете».

Иногда мне казалось, что однажды она приедет за мной.

Глупо было бы, спустя много лет, роптать на судьбу, жалеть о чем-то. И особенно, раз на то пошло, о днях, ночах, проведенных в стенах отделения гематологии. Иногда это невозможно, но о каждом дне, прожитом когда-то, хорошо ли, плохо ли, нужно вспоминать с благодарностью, памятуя, что это именно твоя жизнь, и презрительных, осуждающих, злых воспоминаний она просто не заслуживает. И потому хрупкие осколки прежней жизни нужно бережно собирать, хранить их в сердце, и кто знает, может быть, однажды, на склоне лет, именно маленький завалявшийся осколочек поможет тебе, заглянув в прошлое, почувствовать себя счастливым. Хотя бы на несколько минут.

Здесь, в больнице, я испытал первую любовь, волшебную и таинственную, потому как влюблен был не в школьную одноклассницу, а во взрослую и, как мне тогда казалось, самую прекрасную женщину на свете. Впрочем, не женщину, молодую девушку двадцати трех лет, но, если учесть, что тогда мне было всего двенадцать, можно понять, какая гордость примешивалась к моим чувствам — ведь я любил не ровесницу, а существо из другого мира, мира взрослого, до которого по всем параметрам я не дотягивал. Но это только усиливало мои чувства. И, что самое интересное, мне отвечали взаимностью. Да, даже сейчас мне это понятно, мне отвечали взаимностью, иначе для чего были все эти первые шаги, которые делала она, а не я?

Тоня, медсестра наша, ласково встретившая меня в отделении в первый день...

Так же вечерами приходила мать, рассказывала новости, приносила наговоренную водичку, заставляла умываться и пить. Так же играли с Сашей в шахматы, он научил меня, как ставить детский мат, и иногда мне удавалось его обыграть. Я так же проглатывал за день свои положенные тридцать шесть таблеток, так же читал книги. Но, когда дежурила Тоня, повадился торчать возле нее на посту, мы разговаривали легко, непринужденно, как ровесники, я помогал ей раскладывать в пластиковые стаканчики таблетки и разносить по палатам градусники и баночки для мочи. После отбоя она выключала во всем отделении свет, оставляла у себя на столе настольную лампу с зеленым абажуром и не отправляла меня в палату спать, а разрешала посидеть еще. Я сидел и любовался на длинные ресницы, русую прядь из-под белого колпака, зеленые глаза и улыбающиеся губы.

Состояние влюбленности не покидало меня до последнего дня. Я выздоравливал, и, может, благодаря именно этому чувству и наговоренной водичке, а не тем трем с лишним тысячам таблеток, которые мне пришлось переработать почти за три месяца, проведенные в больнице.

Саша. Он провожал меня крайне грустный и унылый, ведь его положили раньше меня, и я уже (три месяца — это уже!) ухожу, а он еще нет. Несправедливо все это, вот, наверное, что он думал, держа под мышкой свои неизменные шахматы. Сколько партий нам довелось сыграть? Тысячу? Он пил сок, который ему тетя Ира приносила каждый день, но он уже ни во что не верил. Здесь же, в отделении, умер его родственник, добродушный пожилой мужчина, который тоже здорово играл в шахматы. Положили его после меня, и пролежал он не больше месяца, умер 31 декабря, на Новый год, когда окна в палатах были украшены вырезанными из бумаги снежинками. И много еще кто умер, практически на наших глазах все это происходило, мы общались, разговаривали, играли в шахматы, человек шутил и ходил в туалет, а потом вдруг умирал. Это было страшно. Но страшнее было, когда в отделении появлялась коротконогая толстуха с каталкой. Скрип ее авто, мрачные скабрёзности и зловещая улыбка наводили ужас на больных. Женщины просили Наталью Николаевну, чтобы толстуха в отделении больше не появлялась, но та только руками разводила: не выгонишь же человека с работы за бестактность? Да и, добавляла Наталья Николаевна, вряд ли найдется кандидат на ее место.

Я сдал пижаму, постель, переоделся в свою одежду и мечтал гордо взглянуть толстухе в глаза, но не тот был момент, чтобы она притащилась со своей скрипучей каталкой.

Я прощался, заглядывая в каждую палату, и многие прощались со мной сухо, будто я в чем-то был виноват, иные дружелюбно, искренне радуясь моему выздоровлению, а Саша проводил по всему длинному коридору, до лестницы. Он молча пожал мне руку и пошел, не оглядываясь, назад. Ссутулившийся мальчик с шахматной доской.

Я стоял со своими сумками, смотрел ему в спину и часто моргал, потому что — слезы. На лестнице меня догнала Тоня, глаза тоже в слезах. Она прижала меня к груди, поцеловала в щеку.

— Живи, Юрок! — только и сказала.

Я вышел с записью в справке для школы: «Тромбоцитопеническая пурпура средней тяжести», и с наставлением Натальи Николаевны не есть шоколад, цитрусовые и много не загорать. Еще поставили меня на учет, и раз в месяц в онкологическом диспансере нужно было сдавать кровь и посещать гематолога. С периодичностью в два-три года у меня случалось обострение, были плохие анализы, появлялась сыпь, и мне выписывали лекарство на дом. В тридцать с небольшим меня с учета сняли в связи с тем, что последнее обострение было более

семи лет назад. Два десятка лет таскался я в республиканский онкологический диспансер, сидел со старухами в очереди, чтобы сдать кровь, и вдруг — свобода.

Многое из того, что произошло со мной в больнице, я пропустил. Три месяца прошли словно целая жизнь. Я не рассказал, как рисовал карикатуры на больных, персонал врачебный и толстуху коротконогую. Рисовал я хорошо, и мои тетрадные листочки, веселясь, передавали из палаты в палату. И как меня навещал приятель мой по кличке Чемодан, и уговорил меня выйти погулять и заглянуть с лестницы в окно морга, стоявшего отдельно от больничного корпуса. И как по инициативе нашей классной руководительницы, меня пришел навестить и попрощаться весь класс — дескать, вряд ли он покинет стены страшного гематологического отделения, и потому — фрукты в руки и шагом марш после уроков. И как возле дома, после выписки, меня остановила соседка и подробно стала расспрашивать о моей болезни, о больнице. Я зачем-то подробно рассказывал. Она внимательно слушала, а потом констатировала: «Ты умрешь скоро» — и уковыляла, пренебрежительно плюнув в душу, не задумываясь, что небрежно брошенное слово может ранить и убить. Но я не оправдал ее прогноз — «скоро» затянулось. А вот сын ее спился и умер, и сама она сейчас, не выходя из дому, доживает свои последние дни, а ухаживает за ней сноха, на которую подписала квартиру. Эти полные яда слова до сих пор в ушах, но я не держу зла. Мать всегда учила прощать.

Через несколько месяцев после выписки я узнал, что мальчик с неизменной шахматной доской умер, а еще много лет спустя сестра моей гражданской жены как-то спросила: «Ты знаешь тетю Свету?» Я ответил, что знаю много Свет и теть, и она уточнила: «Горшкову». Мне это ничего не сказало, и она принялась объяснять. Выяснилось, что Горшкова тетя Света — мама того самого мальчика, Саши, и она с Олей, сестрой жены, в очень хороших отношениях. И она рассказывала ей про меня, про то, как я лежал с ее сыном в отделении гематологии в 1982 году. Я, честно говоря, маму Саши помнил плохо, почему-то больше тетю Иру с бутылочками сока, но загорелся тогда увидеться с ней. Оля обещала устроить встречу, и сказала, что тетя Света сама сейчас очень болеет, у нее рак, а у мужа несколько инфарктов было. И еще рассказала, что у Саши была старшая сестра, которая буквально через пару лет после его смерти отравилась таблетками, не сдав экзамен то ли в институте, то ли в техникуме. А может, экзамен был просто причиной, на самом деле толком никто не знает, но вот судьбе тети Светы не позавидуешь. Схоронить двоих детей, одного за другим, — врагу

не пожелаешь.

Поначалу загоревшись, поразмыслив, я передумал встречаться с Сашиной мамой. Больная сама, больной муж, наверняка не утихающая боль от потери детей, и вдобавок я, ровесник ее давно мертвого сына, цинично притащусь из прошлого, чтобы сыпануть соль на раны, — изощреннее по своему нахальству и жестокости, на мой взгляд, поступка не придумать. Хотя очень и хотелось узнать: где он умер, в больнице или дома, потому что иных безнадежных по настоянию родственников выписывали умирать домой, какие были его последние слова, если они были, какую перед смертью читал книгу, где похоронен, да и вообще, *как все это произошло?* Все-таки мы сдружились тогда, много времени проводили вместе, разговаривали, и странно, что его мечты давно умерли и обратились в прах, а я продолжаю мечтать.

Дай судьба ему тогда шанс, и все это могло быть иначе. Встреча спустя много лет: «Привет!» — «Привет! Как жизнь?» — «Отлично!» — «Осуществил мечту? Стал водителем?» — «А то! Посмотри, какой у меня шведский красавец. „Вольво“! Двадцать пять тонн тащит, не напрягаясь. Не чета нашим хиленьким „КамАЗам“. А у тебя, как жизнь, друг? Стал писателем или давно бросил это дело?» — «Ни то, ни другое. Пишу, но писателем себя пока не считаю. Водителем стать легко, отучился и за руль, а здесь, чтобы добиться признания, чтобы научиться писать, чтобы этим заработать, нужна целая жизнь». — «Что, все так плохо?» — «Да нет, прогресс есть, вышла в известном питерском издательстве книжка, но ни славы, ни денег пока не принесла». — «Дашь почитать?» — «Прокатишь на грузовике?» — «Обязательно». — «Тогда дам. Даже подарю, с автографом!»

И, разумеется, смех, шутки, похлопывание друг друга по плечу, воспоминания о днях и ночах, проведенных в больнице.

Но — стоп. Поезд пошел по другому пути. Осколки остались иные. Этой встречи и воспоминаний не будет. Может быть, та самая коротконогая толстуха, спившаяся, с растрепанными волосами и постаревшая, вспомнит на лавочке у подъезда с такими же пенсионерами, как однажды везла из гематологического отделения мертвого мальчика с шахматной доской, потому как не желал ни в какую с ней расставаться. Да и то вряд ли. Если она и жива до сих пор, нет надежды, что ее злая и равнодушная память что-нибудь сохранила. Разве что скрип каталки.

Свою сестру в детстве я помню плохо. А если что-то и вспоминаю, когда мы приезжаем друг к другу в гости, так это какие-нибудь ее пакости. Она вспоминает другое, хорошее, что для меня сделала, но я почему-то ничего не помню. Вздорный, грубый, отвратительный характер сохранился у нее до сих пор.

Вскоре после того, как меня выписали, она вышла замуж и уехала с мужем в Подмоскovie зарабатывать себе квартиру, тогда это было возможно, и за четыре года труда на Щуровском цементном заводе они получили отдельную трехкомнатную квартиру в центре Коломны. У сестры две сейчас уже взрослые дочери, мои племянницы, но, даже постарев, она ведет с себя с ними безобразно, как со мной в детстве: оскорбляет, проклинает, пытается поднять руку и всюду сует длинный в прямом смысле этого слова нос.

Помню, перед тем как уйти в армию двоюродный брат Вовка, тот, что красил рыжеватые волосы в черный цвет, подарил мне фотоаппарат «Виллия-авто». Шикарный, надо признать, сделал мне подарок, потому как — крестный, а я ему крестник. Фотобачок подарил новый, а увеличитель свой, старый, но научить премудростям фотодела меня не успел, пообещав, что в первом же письме подробно напишет, как проявлять пленку и печатать фотографии. Хорошо помню, с каким нетерпением ждал я это письмо, потому как пленку исцелкал, и не терпелось собственноручно наклепать фотографии.

И вот, помню, прихожу из школы, заглянув предварительно в почтовый ящик, а конверт уже у сестры в руках, дразнит, драконит, заставляя то плясать, то песни петь. Начинаю конверт отнимать. Когда справиться со мной становится сложно, сестра закрывается в спальне, дверь на замок, шуршит бумагой, открывая конверт и доставая письмо, а потом начинает читать, посвящая меня после приветствия в таинства фотографического ремесла.

А я в ярости, я в бешенстве. Это же мое письмо! Это мне! На конверте стоит мое имя, и в скобках приписка, лично в руки, так почему кто-то, дразня, читает его мне вслух, хотя я и сам хорошо умею? Что за свинство?!

Сначала я луплю ногой по двери, а потом, когда сестра, продолжая читать, дает понять, что открывать не собирается, вышибаю ногой в тонком носочке толстенное стекло в двери. Рифленое, матовое стекло.

И вот тут сестра по-настоящему пугается и открывает. Я реву, у меня истерика. Матери нет, прибегает бабушка, кругом осколки, и бабушка меня не ругает за стекло, интересуется лишь: не порезался ли.

Нет, все нормально. Нога в порядке, а вот нервышки на взводе.

И много было таких моментов, которые я запомнил. Например, когда я не хотел есть, сестра грозилась вылить мне суп за шиворот, и несколько раз свое обещание сдерживала. Опять детские слезы, истерика у меня и я весь в супе.

Матери с бабушкой тоже доставалось. Наряды новые нужны, допустим, подружкам купили, и ей, значит, нужно. И такие закатывает сцены, что матери волей-неволей приходится влезть в долги, но купить. А бабушку она и вовсе за человека не считала. Может быть, иногда и я обижал ненароком, но мне скидка — был мал, а сестра почти взрослая, должна была соображение иметь, так нет же, не имела. Пока мать была на работе, изгалялась над бабушкой всячески, и поколачивала, и обзывала грязно, а бабушка, святой смиренный человек, никогда никому не жаловалась. А уж про то, что каждое сказанное бабушкой слово сестра злобно цитирует: «Прохрипись!», знали все родственники. Когда дело происходило при посторонних, сестра говорила деликатно: «Баушк, прокашлийся, что ли!» Зная ее вздорный характер, никто не осмеливался с ней поговорить, объяснить, что это плохо, некрасиво для внучки, вынужденной этим старым человеком, да и вообще по-скотски. Она могла задать жару и учителю.

Мать, рано потерявшая мужа, всю жизнь посвятила нам и трудилась на тяжелейшей работе, лишь бы были сыты, одеты, не хуже других, ни в чем не нуждались. И на свою жизнь личную наплевала, и был лишь один момент, когда она пыталась это исправить, — вскоре после того, как меня выписали. Привела в дом, чтобы познакомить с нами, добродушного хорошего человека. Дядя Вася, представился он, пожимая мне руку. А сестра и здороваться не стала с ним и закатила такую истерику, такой скандал, что больше этот Вася в нашем доме не появился. Может быть, мать не захотела нового скандала, может, сам поостерегся. Но это был единственный случай, когда мать пыталась устроить свою жизнь. А я огорчился. Мальчику расти без отца трудно, некомфортно, да и понравился мне дядя Вася этот сам и то, что у него машина была, «Волга» двадцать первая, с оленем на капоте. Родственники тогда матери про сестру говорили: «Выдрать бы ее так ремнем, что позабыла бы, как на стуле сидеть! Взяла волю, а ты страдай!» Но мать только вздыхала. Выдрать сестру было некому, а мать, так же, как и бабушка, смиренный и святой человек, до скандалов не опускалась. Голос-то редко на нас повышала, не то, чтобы там ремень в руки. Когда сестра уехала, все мы вздохнули с

облегчением. Но каждый ее приезд сопровождался истерикой, скандалом, безобразным поведением. Так продолжается и по сей день.

* * *

Я вышел из больницы после Нового года, в январе, когда новогодние каникулы уже прошли. И если раньше я учился кое-как, то за три месяца скатился и вовсе. Руководительница наша классная, не чаявшая больше меня увидеть, на радостях ставила мне троечки там, где светила твердая двойка. Спрос с меня был небольшой, устно выучил, письменно у кого-нибудь переписал, и порядок. Чего еще требовать от человека, совершенно не желавшего учиться? В классе было с десятков таких балбесов.

Старики, старшее поколение, практически всегда с ностальгией говорят, что сегодняшняя молодежь никудышная, и что мир катится, и что раньше, во время их молодости, все было иначе: розовые лужайки и голубые фонтанчики. Не верьте. По крайней мере, за свое поколение (родился я в 1970) могу сказать, что все было не так гладко.

Идеология. Вот что имело значение. Вот что помогало искоренять, направлять, просвещать. Не все было гладко и безоблачно, но были пионеры, пионервожатые, комсорги, чтобы воспитывать, и была четкая идейная позиция. Нас учили любить Родину, нас учили быть честными и порядочными. Всем нам хотелось совершить подвиг, умереть героически за Родину, а не тупо пить разрекламированное пиво и мечтать разбогатеть. Кумирами были молодогвардейцы, Гагарин и летчики-полярники. А сейчас? На кого равняется подрастающее поколение? На Плохишей. На олигархов, разграбивших нашу Родину. На гламурных подонков. На суперкиллеров. На Петю Листермана, продавца «мохнатого золота». И прочих чудовищ. Нынешние герои — хамло, бандиты и денежные мешки. Герои телепередач — наркоманы и нацисты, ведущие этих передач — проститутки и порноактрисы. Покажите мне сегодня человека, отважного, как Олег Кошевой, дерзкого, как Юрий Гагарин, не хамло и не дегенерата, указывающего Путь, но не обочину, и ради него я сам готов войти в клетку к свирепым львам, не надо меня к ним бросать, как это делали с первыми христианами.

И если даже тогда, при серьезной идеологической работе, все шло не так ровно, то что говорить про день сегодняшний?

* * *

Во дворе возле нашего дома тоже кипела жизнь. Ребятам было столько, что, построив самодельное хоккейное поле, все сразу уместиться на нем не могли, поэтому играли в хоккей по очереди, разбившись на несколько команд. Ребята постарше пили портвейн, носили модные в то время каракулевые шапки — подобие пилотки, только зимний вариант, — и задушевно в лютый мороз играли на гитаре возле подъезда. Песни из репертуара Макаревича, Никольского, Юрия Антонова. Девочки-ровесницы, с которыми мы, мальчишки, строили снежные крепости. Потом сидели внутри, в темноте, прижавшись друг к другу и чиркали спичками, воображая, что находимся в таинственном замке. Таня Филина, Наташа Калашникова, юные прелестные создания, в которых я по очереди был влюблен. В Таню — сильнее, потому как собственноручно сделал себе на левой руке татуировку: «ФиаТ». Аббревиатура расшифровывалась легко, и потому, чтобы избежать насмешек, быстро сжег татуировку марганцовкой. Про медсестру Тоню я быстро позабыл.

Татарин Рашид, постарше нас, наматывал на колеса своего «Минска» велосипедные цепи, прицеплял паровозиком с десяток санок и с ревом катал нас по вечерним улицам. Веселое было время, шумное. Мчались за ревущим мотоциклом на салазках, словно Кай за Снежной Королевой, а потом, когда Рашид не справлялся с управлением, все мы летели в сугроб.

С товарищем по кличке Чемодан, купив детский телефон, провели его с первого, где жил я, на четвертый, где жил он. Разговаривали. Он кукарекал в трубку, я подносил ее к нашей радиоле «Сириус-111», поставив пластинку Высоцкого или «Машины Времени». Оба собирали пустые пачки от сигарет, товарищ свою богатую коллекцию хранил в ободранном чемодане под кроватью. За этот чемодан и получил прозвище. Меня дразнили Букварем за любовь к книгам.

Парнишка из соседнего подъезда строил в подвале азросани по чертежам из журнала «Моделист-конструктор». Мы ходили на ламповый завод воровать селитру и, смешивая ее с углем или обыкновенным сахарным песком, изготавливали взрывчатку. Селитру набивали в консервные банки или обрезки металлических труб, втыкали фитиль и, поджигая, отбегали подальше. Назывались самодельные взрывпакеты — «стартеры». Помню деревенского мальчика, приехавшего в наш дом к родственникам, с костылями, без ноги. Лишился ноги, балуясь этими «стартерами».

Этой же зимой я едва не утонул. Перед домом были ряды гаражей, за ними — огороды, после них в бурьяне протекала маленькая речушка, в которую стекались сточные воды,

канализация, за что речушку называли презрительно Вонючкой или Негодяйкой.

Зимой над Негодяйкой нарастал слой льда, под которым она безмолвно продолжала свою вонючее путешествие — вода стекалась в нее по огромным бетонным трубам из туалетов, городских бань, прачечных, вобрав в себя весь смрад, всю нечисть. Мы ходили с мальчишками по Негодяйке и проламывали лед, прыгая по нему ради озорства. И вот в такую-то самолично проделанную полыню я и провалился вместе с кусками льда. И сразу по шее в воду, пальто набухло, тянуло вниз и в темный тоннель, проделанный в снегу и льду течением. Зацепился за края обкромсанного жесткого снега и молчу, а товарищей никого нет — дальше озоруют.

Руки скользят, срываются, и меня продолжает затягивать в тоннель, под лед. А затянет — все, хана. Слышу, как товарищи веселятся — ломают лед выше по течению. И крикнуть хочу, и не могу почему-то, за ноги словно кто-то тащит, не до крика.

Вытащил парнишка постарше, из нашего же дома, шлепал рядом на лыжах. Увидел меня, и — куда палки, куда лыжи! Молодец! Подскочил, за руки слабевшие хватать меня и потихонечку из вонючей ледяной воды стал вытягивать. Товарищи увидели, подбежали, давай ему помогать. А я потом — бегом домой, даже и спасибо лыжнику забыл сказать. А теперь уже и не скажешь. В девяностые он занялся коммерцией, потом влез в долги, спился, и, пытаясь изменить жизнь, завербовался по контракту в Таджикистан, но прослужил там недолго. Пьянствовал с сослуживцами и там. Ходили к местным за выпивкой, те и отравили их каким-то суррогатом. Четыре цинковых гроба. Три гроба отправились в путешествие по бескрайним российским просторам, вернулись туда, откуда бедолаги, теперь запаянные в цинк, свалили в поисках лучшей доли, один приехал в соседний подъезд нашего дома. Владимиром звали того лыжника.

* * *

Кинотеатр недалеко от дома — «Молодежный». Небольшой зал на втором этаже, в буфете томатный сок в пузатых бутылках, граненые стаканы, в чашечке соль. В кассе билеты, напечатанные на зеленоватой бумаге, самый дешевый 10 копеек — на утренний сеанс и на первый ряд. В фойе стены, увешанные фотографиями актеров и плакатами. Два из них, анонсирующие новый фильм, хорошо помню: «Огарева, 6» и «Дом на Лесной». Плакаты висели

давно, и после слова «Лесной» прямо на глянце кто-то нацарапал цифру «2». И всем было смешно, потому что в нашем городе по адресу Лесная-2 находилась психбольница.

Перед фильмом обязательно киножурнал, «Фитиль», режé — мультик «Ну, погоди!» И фильмы — индийские мелодрамы, французские и итальянские комедии, румынские вестерны. Два фильма, которые в то время часто крутили, я так любил, что прогуливал ради них уроки. «Гонщик серебряной мечты» и «Цена победы». О мотогонщиках.

Впечатление нагнали такое, что я долго мечтал стать мотогонщиком.

Не стал. Но те фильмы и сегодня посмотрел бы с удовольствием.

* * *

Но самым любимым моим занятием было читать. Я запирался с книгой в туалете, валялся с ней в ванне, читал во время обеда и перед сном. Занимался, как правильно впоследствии сформулировал писатель Александр Етоев, книгоедством. Замечательное слово, меткое, самое что ни на есть подходящее. В словаре такого нет, не ищите, и вот сейчас, когда пишу, word предупреждающе подчеркивает красным. Зимой, придя из школы, здорово было устроиться с интересной книжкой на кухне, перед окном, ноги задрать на горячую батарею и покачиваться на стуле со спинкой, балансируя на двух ножках. Рядом, на столе, в стеклянной поллитровой бутылке сливки, полосатая крышечка из фольги, в полиэтиленовом пакетике — шоколадные пряники или овсяное печенье. Бабушка в очках с резинкой вместо дужек вяжет носки, сестру не помню, мать на работе, придя с которой обязательно принесет мне какой-нибудь гостинец — или в буфете купит, или угостит кто. Сама не съест, несет мне. Когда был совсем маленький, говорила, что передала лисичка. А я все спрашивал, почему она сама не придет, уж больно хотел ее увидеть.

Я перечитал за зиму книги Гайдара, Катаева, Юрия Сотника, Радия Погодина, Волкова и Стивенсона. Скушав школьную библиотеку, записался в городскую, где свободно, без записи, можно было взять Александра Беляева, Герберта Уэллса, Жюль Верна, приключенческую литературу и фантастику. Я был непривередлив и глотал все подряд. Утром мог читать интереснейший роман Вальтера Скотта, а перед сном какой-нибудь чуть ли не научный труд.

Иногда пытался придумать новые похождения Незнайки, записывая их в свою тетрадь, дополняя рисунками. Фантазия была убогая, рисунки — красивые. Я перечитывал настоящего Незнайку и понимал: за Носовым не угнаться.

Взять, к примеру: «— А! — закричал Козлик. — Теперь мне понятно, почему гостиница называется „Экономической“! Потому что здесь можно сэкономить уйму денег. Захотел сэкономить сантик — спи без простыни или без одеяла. За два сантика можешь спать без подушки. А за целый пятак спи на голом полу. Сплошная выгода!»

Или вот: «— Чтоб вас черти побрали! — выходил он из себя. — Это какая-то грабировка, а не гостиница. Тут поживешь, так не только без шляпы останешься, — гляди, как бы и штаны не сняли. Скоро чихнуть бесплатно будет нельзя».

Сам разве так сочинишь?

* * *

Сколько себя помню, дома у нас всегда был народ: родственники, малыши соседские, которых оставляли бабушке посидеть, женщины, прятавшиеся у нас от мужей алкоголиков или заглянувшие к бабушке просто так, поболтать. Мы жили на первом этаже последнего подъезда, дверь направо, о домофонах и дверях железных тогда не слыхивали, и любой, войдя в подъезд, звонил или стучал, естественно, в первую попавшуюся, то есть нашу дверь. Надобности у всех были разные. Приходили мужики из гаражей с ведром — воды налить для машины, ребятишки то и дело прибегали попить, соседи оставляли ключи, почтальонка, доверяя бабушке, оставляла пенсию тем, кого дома не застала, часто ходили цыгане и погорельцы. Бабушка, добрая душа, открывала всем, никому ни в чем не отказывала. Всех напоит, всем воды для машины нальет, всех от мужей алкоголиков спрячет. Цыганам даст хлеба, погорельцам — монетку или вещи старые.

Однажды она приютила тюремщика сбежавшего. Прихожу из школы, а он сидит на кухне, суп ест. Взгляд затравленный, глаза злые бегают, в робе арестантской, — удивляться было нечему, потому как у нас кругом зоны да тюрьмы. Мать бабушку потом ругала, дескать, прибил бы, не моргнув глазом, чтобы знала потом, кого пускать в дом, но бабушка оправдывалась, что он — тоже человек. Не прибил, пронесло. Бабушка дала ему одежду, оставшуюся от отца, он переоделся, свою робу черную с собой забрал, поблагодарил бабушку сердечно и ушел в неизвестность.

Кто он, за что сидел, как сбежал, как зовут, и что случилось с ним потом — этого мы никогда не узнали.

А еще как-то, я, наверно, в классе втором учился, мы с матерью привели в дом девочку младше меня. Идем из магазина, а возле детского садика, возле крышки канализационного колодца, женщина пьяная валяется, платье задралось бесстыдно, ноги худые и грязные, а возле нее эта девочка плачет — дочка. А уже поздно, лето. Алкашку на себе не потащишь, а вот девочку забрали с собой, правда, она от матери своей негодной уходить не хотела. Мать моя дома девочку отмыла, причесала, накормила, в сестрины старые вещи нарядила, так, что любо-дорого глядеть стало, и девочка была такая славная, добрая, тихая, и мне было жалко ее, потому как моя мать была совсем другая — все мне, а здесь иное — напилась, валяется, а ребенок голодный плачет рядом. И мы играть стали с девочкой, и ночевать она у нас осталась, и я уже представлял, что она останется у нас навсегда, станет мне настоящей сестренкой, но на другой день пришли из милиции и забрали ее. Кто-то из соседей видел, как она с нами ушла, и девочке пришлось вернуться к матери-алкашке или в дом детский. Этого мы тоже никогда не узнали, а как звали ту девочку, я давно забыл. Как сложилась ее судьба, стала такой же алкашкой или наоборот, заботливой, ласковой матерью, — известно одному Богу.

Потом, много лет спустя, идя к своей мечте, живя подпольной писательской жизнью, я сердился на бабушку, что все эти ее соседи, все родственники, день и ночь не покидавшие наш дом, мешают мне писать. Все эти звонки и стуки с утра до вечера мешают мне сосредоточиться и работать. Но теперь-то мне ясно: бабушка по другому жить не умела. Как Данко, она отдавала свое сердце людям, и до сих пор многие, порой мне совершенно незнакомые люди, подходят и вспоминают тетю Полю, бабушку мою, добрым словом. Сказано пафосно, но это действительно было так.

Умерла бабушка летом 1999 года, и ее последние минуты я описал в своем рассказе «Коты столовой породы». Было бабушке 89 лет.

* * *

Но до того было еще далеко, жизнь продолжалась. Прошла зима, пришла весна. Щеки мои пухлые от больничной еды и трех тысяч таблеток похудели, я принял прежний облик.

И было странно мне самому, что несколько месяцев назад я,

двенадцатилетний мальчишка, валялся в больнице, а теперь беззаботно бегу в резиновых сапогах с товарищами вдоль ручейка за корабликом. Ручей начинается выше нашего дома, бежит между гаражей, потом там, где летом будут огороды, и растворяется в Негодяйке.

Когда подсыхает, бродим с Чемоданом по гаражам и помойкам. Притаскиваем старые аккумуляторы ближе к дому, разбираем и на костре в консервных жестянках плавим свинец. Заливаем его в формочки, сделанные в земле. С нами еще товарищи, младший брат Рашида Марат, которого мы зовем протяжно, как его мать, Маратка, и который, чтобы не делиться ни с кем сладостями, прячет конфеты в шапку или в носки. Отец Маратки работает на «Колхиде», и, когда приезжает на обед, все мы усаживаемся в кабину или бегаем по кузову. Играем вместе с девочками, потому как раньше не принято было делиться по половым признакам. С нами Таня Филина, Наташа Калашникова и еще много девочек помладше, которые не отстают от нас, как хвостики.

Когда земля становится совсем сухой, за гаражами начинают копать огороды. Дачи имеют немногие, и, разбив землю на квадраты и прямоугольники, люди сажают здесь картошку и лук, готовясь к зиме. Есть и у нас участок. Мы возимся на своем, и кругом — люди. Мать, бабушка копают, я помогаю, сестру не помню. Горят костры из прошлогодней ботвы, осенью в такой же сухой ботве станем печь картошку. Дым щиплет глаза, земля твердющая, мать жалеет: «Отдохни». Бросаю лопату и иду поджигать кучи ботвы там, где еще не успели поджечь. Дым белый стелется, если ветер, он и вовсе прозрачный. Люди шутят, друг другу помогают, все друг друга знают, — веселое время, хорошее.

Но огороды идут лишь до бурьяна, до Негодяйки, дальше — табу. Дальше вотчина ребятни, огромное зеленое пространство, в честь которого названа наша остановка «Зеленая поляна». Здесь играют в футбол, катаются на велосипедах, даже собирают опята, и взрослые до поры до времени нашу территорию не трогали. Но гаражи надвигались, ставили их прямо на огороды, безо всяких разрешений, а жить было надо, картошку надо было где-то сажать, лук, и тогда табу было нарушено. Пример подали женщина из нашего дома, скандалистка и сплетница, разбив новый огород взамен отнятого очередным гаражом, прямо посреди футбольного поля. Помню возмущение всей окрестной ребятни. В первый же вечер многие из нас, утащив из дома простынь, накинув ее на себя, жгли на этом огороде огромный деревянный крест. Молча, взявшись в знак протеста за руки,

ходили вокруг горящего креста. Ночью ходили вскопанную землю топтать и мечтали угнать со стройки каток, чтобы проехать на нем по этому огороду, покусившемуся на нашу территорию.

В первый год этой женщине мы так и не дали собрать урожай, вытоптали на корню, хотя она частенько, до позднего вечера караулила. Но гаражи продолжали наступать, огороды разрастались, бороться было бесполезно. Нас безжалостно выгнали со своей земли, ничего не предоставив взамен.

На нашей поляне до сих пор огороды, и ковыряются на них одинокие сгорбленные старики. Нет ни костров, ни дыма, ни смеха, старикам никто не помогает.

* * *

Как-то возле нашего дома поставили качели, нереально огромные, железные, выкрашенные в темно-вишневый цвет. Сиденья с двух сторон, друг против друга, и были качели такие массивные, что мы, ребятня, облепив их, умещались сразу по пятнадцать человек. С песнями раскачивались высоко, «до стука».

Я тоже горлопанил с ребятней песни, вцепившись в металлический поручень, чтобы не вылететь из качелей во время каждого «стука». Когда качели замедляли ход, я доставал из чехла свою «Виллию-авто» и снимал всех на память. Целая кipa черно-белых фотографий осталась, напоминая о тех временах. На них не только товарищи, ребятня, но и взрослые из нашего дома, соседи, алкоголики. Бабушка в очках с резинкой вместо дужек, мать молодая, красивая, в платье своем кримпленовом. А вот сестры на тех фотографиях почему-то нет. Осталась одна, другая, где мы с ней в парке. Мне года три, она, разумеется, старше. Я в белых гольфах, белой рубашке, с галстуком на шее и невероятно довольный, а у сестры и там злое лицо.

С одноклассником Толиком Трифоновым мы жили в одном подъезде. Помню, как он сломал обе ноги на этих качелях. Как обычно, куча ребятни на них, раскачиваемся, а потом вдруг резко качели останавливаются. Никто сначала не понял в чем дело, а потом смотрим, ноги у Толика под этой машиной — соскользнули с трубы металлической, пола нормального не было, и зажало их между землей и качелями. Своими ногами такую машину остановил, и даже не вскрикнул. А потом, когда понял, что к чему, заплакал молча. Мы стали качели приподнимать, ноги ему высвободили, а они, ниже колен, болтались у него туда-сюда. И опять лыжник Володя, спаситель мой, парень высокий, крепкий, взял Толика на руки и отнес домой. Потом скорая приехала,

Толика в больницу увезли — открытый перелом обеих ног был. В больнице лежал он долго, потом еще дольше дома, а потом, поправившись, стал каким-то нелюдимым. И к ребятам не подходил, и жизнью какой-то своей непонятной отшельнической зажил, и до сих пор почему-то, встретившись, не здороваемся, отводим глаза и проходим мимо.

А в начальных классах мы здорово с ним дружили. Мать его работала в нашей школе техничкой, полы мыла, значит. Моя мать разрешала мне делать уроки у Толика дома, полагая наивно, что, если мать его работает в школе, значит, проконтролирует все и уроки сделаем как следует, но не тут-то было. Тетя Дуся, мать Толика, занимаясь своими делами, заставляла читать нас вслух, но ничего не проверяла. И мы хитрили. Читаем в комнате громко, она на кухне слушает, а сами перескакиваем через абзац, большие пропускаем, маленькие читаем. Раз-два, и готово! Пять страниц текста прочитаем за три минуты, и айда гулять. Такой же троечник, как и я, он был.

* * *

На летние каникулы мы уезжали с бабушкой в деревню, во Владимировку. Доезжали на троллейбусе до вокзала, а там по расписанию ходил автобус маршрута № 107. Если идти от дома до деревни пешком, через поля, заводы, овраги и фабрики, напрямки, всего-то было бы ничего. А ехать, да с пересадкой, часа четыре. На вокзале была пельменная, и пока мы дожидались свой 107-й маршрут, и если было время, бабушка водила меня в нее, кормила пельменями и беляшами. Не знаю, как было на самом деле, но тогда-то казалось, ничего вкуснее не бывает. Оно и понятно. Вкус детства. Мало кто может вспомнить про свое детство плохое, невкусное.

Коля, зная о нашем приезде, караулил нас, видел от дома, как автобус подъезжает к остановке. Садился на свой велосипед и гнал его через поле, нас встречать.

Сумки бабушкины с гостинцами вешал на руль, меня сажал на багажник. Бабушка пешком шла следом.

Не успевала она дойти до дому, а мы уже, вооружившись удочками, катим на велосипеде на речку. Я опять на багажнике, велосипед у Коли один.

Коля рассказывает мне, где недавно кто-то из деревенских вытащил здорового зеркального карпа. На плотине. Зеркальный карп — Колина мечта. Едем на плотину, находим в камышах укромное место, забрасываем удочки, а потом идем

проверять нероты, которые Коля вчера забросил. В них — картошка, которую Коля положил для приманки, и пучеглазые лягушки, соблазнившиеся этой сырой картошкой. Карпов нет. Лягушек вытряхиваем, нероты забрасываем снова, привязывая веревки укромно к корягам, чтобы никто не нашел.

К вечеру, так ничего и не поймав, едем домой, потому как скоро приедут на свалку мусорные машины, и нужно идти собирать хлеб и отбросы разные для свиней. Иду вместе с ним. Вернее, опять на велике едем. Я на багажнике. Когда задница устает, пересаживаюсь, боком, на раму. У Коли с собой два мешка под куски хлебные, завязки никогда не берет, там найдешь сколько угодно. Из Владимировки и соседней, через дорогу, Александровки тащится тьма народу. Почти в каждом доме держат поросят, потому как свалка рядом и кормежка получается бесплатная. Догоняем соседку Ньюраку. Она шустро шагает и тащит за собой под куски железное корыто, к которому приделаны четыре велосипедных колеса.

«Здрасти, тетя Нюр!» — кричу ей с багажника.

«Один приехал?» — спрашивает она, ответив на приветствие.

«Нет, с бабушкой», — отвечаю.

Мы обгоняем Ньюраку. Одета она живописно: на ней халат синий, рабочий, на голове фуражка мужнина, на ногах — сапоги моднющие, блестящие, с замками сломанными, с каблуками здоровенными. Итальянские кинодивы шестидесятых в таких щеголяли, в кино разве что увидишь, да еще вот — на Ньюраке. Кто-то выбросил, она подобрала на свалке, теперь форсит. Так и ковыляет в своих давно вышедших из моды сапожках, стянутых в икрах резинками, чтобы не развевались. Коля говорит, что Ньюрака ходит не столько за кусками, сколько за одежкой. Дескать, весь чердак у нее забит башмаками и шубами, каждый день сама в новой одежке.

Машины уже, фырча, подъезжают. Водители выходят, орудуют рычажками, надев рукавицы. Поднимают контейнеры, а потом снова за руль садятся и немного отъезжают, чтобы мусор до конца вывалился. А мы все вокруг стоим, ждем. Когда машина отъезжает, набрасываемся на кучу, кто палкой орудует, кто руками мусор разгребают. Хлеб, куски, буханки целые, батоны, Коля отправляет в мешок. Я нахожу пакет или авоську старую и складываю в него найденные книги, журналы и то, что покажется интересным. Если попадается хлеб, бросаю его Коле, он — в мешок.

Ньюрака с корытом своим на колесах, в сапогах киношных, взбирается на верх кучи, гребет так, что мусор во все стороны летит. Над ней шутят, она поддакивает, шутит вместе со всеми

над собой, продолжая рыться в мусоре.

Переворошив кучу, ждем новую машину. Пока она выбирает место, где бы разгрузиться, дружно ходим за ней. Всех интересует свежий, только что привезенный мусор. Многие водители, разгрузившись, роются в куче вместе с нами.

Коля набивает кусками оба мешка, находит проволоку или веревку и завязывает, потом перевешивает один через раму, один привязывает к багажнику. Обратно пойдем пешком. Коля мог бы ехать и с мешками, но из солидарности тоже идет пешком, за руль везет свой велосипед. Я тащу в авоське книги, журналы и разное интересное барахло: игрушки сломанные, фонарик, радиодетали. Нюраха, натянув на свое корыто сверху кусок брезента, чтобы куски не высыпались или вдруг дождь, шагает рядом, спрашивает, как учусь и про больницу — знает, значит. Рассказываю охотно про свои тройки, а про больницу помалкиваю, будто не слышу, помню, что мне ответила женщина из нашего дома на мои подробности.

Нюраха живет по соседству, но пройти ей нужно мимо нашего дома. В калитке стоит тетя Маруся, мать Колина, жена дяди Вани, брата матери. Хитрая скандальная мордовка, но отходчивая и любительница пошутить. А тут — Нюраха в сапогах киношных. Как говорится, сам Бог велел.

Тетя Маруся, всплеснув руками, начинает полутрамотно и коверкая слова причитать:

— Ой, Нюр! Тебе в тятру надо, а ты с телегой! Ножку не подверни! Калбук отлетит, как модничать будешь?

— Маруськ, ну тебя! — отмахивается Нюраха, а сама, шутки ради, задирает халат, чтобы ноги в сапогах было лучше видно, и ну выхаживать перед нами. Руки в бедра, фуражку мужнину с головы долой, и так ногу поставит, и этак. — Сарвин! — кричит мужу. — Встречай свою звезду!

— Ну, и арьтистка! — смеется тетя Маруся. — Ну, и арьтистка!

Смеемся и мы.

* * *

Утром, после того как Коля польет огород, накормит свиней, воды из колодца в дом натаскает, идем снова на речку. Когда есть желание, помогаю ему, но чаще — жду его, читая в саду книгу. Нашел на этажерке затертый фантастический роман «Экипаж Меконга». Начал читать, понравилось.

Коля все дела переделал, стоит рядом, ждет молча, а я все от

книги никак не оторвусь. Наконец пересилил себя, сунул закладку, и айда на речку. Коля опять везет меня на багажнике, а я удивляюсь про себя, как это он читать не умеет и вообще, почему не научится? Предлагаю ему, а он только отмахивается. Дескать, ему это не надо.

В неротах пусто, нет даже лягушек. Я выражаю сомнение, что недавно кто-то поймал здесь карпа зеркального, но Коля обиженно говорит, что своими глазами видел. Я не спорю, ему верить можно.

Посидев с удочками и ничего не поймав, идем домой, а там сестренки мои двоюродные, Валя и Наташа, купаться на речку собираются. Мы с ними. Коля накачивает камеру тракторную, берем ее с собой. Место для купания обжитое, но все равно — тина, сразу глубоко, а по бокам и на другом берегу кувшинки и заросли камышей. Коля плавать не умеет, потому в воду не залезает, сидит в одежде на берегу, возле велосипеда. А мы, ухватившись за камеру, плывем на середину, — я пытаюсь поднырнуть под камеру так, чтобы оказаться в круге. А потом уже несложно взобраться на камеру и улечься сверху, в воде лишь задница да пятки, и срываешь кувшинки на длинных стеблях. Небо голубое, солнце светит, полная речка ребятни, кто местные, кто к бабушкам приехал, сестренки рядом, головы из воды торчат, сами за камеру держатся, меня туда-сюда толкают. Коля верный, как пес, на берегу. Бабушка в огороде, а мать приедет на выходные. Красота, и вся жизнь впереди, и кажется, что это никогда не закончится.

* * *

Но это только кажется. Рано или поздно заканчивается все, и если пока не вся жизнь, то обязательно проходит какая-то ее часть, счастливое и беззаботное детство, например. Оставляя новые осколки.

Остались в прошлом дни, проведенные летом в деревне. Лишь оглянувшись, собрав осколки, можно вспомнить: колючие кусты крыжовника в саду, куча перепревшего навоза позади дома, по которой я забираюсь на крышу с очередной книгой, в огороде сушится лук, бабушка с подсолнушком сидит прямо на земле, ноги в галошах вытянула, а на коленях у нее — кошка. И еще много чего можно вспомнить. Черемуху в зарослях малины, вишни высоченные, а на стволах, там, где ранки, смола янтарная, и мы сковыриваем эту смолу и едим. Тушу свиньи, привязанную к перекладине турника за задние ноги, кровь стекает в ведро, а

дядя Ваня разжигает паяльную лампу, чтобы тушу палить. Нам, ребятишкам, отрезает свиные уши, и мы, разрезав их на кусочки, сырыми жуем с солью. Солянку едим из одной большой чашки. Дядя Ваня напивается самогонки, но буянить не умеет, лишь улыбается и пытается шутить, рассказывает такую историю: «Жил у нас один старик, два ведра картошки в день съедал». Тетя Маруся гоняет его, материт, а он отвечает: «Бажжи ты!» И Наташа, младшая сестра моя двоюродная, спрашивает: «Пап, что такое „бажжи“?» Он и ей говорит: «Бажжи!» — и уходит от тети Маруси на улицу. В навозе у него еще бутылка самогонки спрятана.

А вечером снова на улицу. Возле дома Ощепковых, где собирается вся молодежь, огромная ветла, к ней привязаны качели и лампочка, чтобы было светло. У многих ребят техника — мотоциклы, мопеды, популярные в то время мотороллеры «Тула». Мы с Колей на велосипеде. Гоняют на мотоциклах так, что почти у каждого дома вырыта траншея, чтобы охладить пыл мотоциклистов, — перед траншеей они притормаживают и почтительно ее объезжают. Затем снова дают полный газ. Собаки с радостным лаем несутся следом.

Еще помню, как на лето к нам присылали из Челябинска Игоря. Сына младшего брата матери Николая, дяди Коли, значит. Игорь младше меня на год, но шустрый невероятно, развит не по годам, в Челябинске его сажают на поезд, здесь, в Саранске, на вокзале встречаем. Он сам себе в поезде и постель стелет, и чай покупает, и на станциях в буфет ходит, и знакомится ходит со всеми по вагону, личность, словом, самостоятельная, не то, что я, стеснительный. Мать однажды взяла нас с Игорем в деревню к родственнице тете Кате, в соседнюю Нижегородскую область, Лукояновский район, деревня Пандилка. А деревня — это несколько дворов прямо в лесу. Недалеко от дома тети Кати озеро, чистое, холодное, с ключами на дне. В первый же день приезда мы с Игорем взяли без спросу на берегу чью-то лодку и давай по озеру туда-сюда наяривать. А к вечеру кто-то бросил в озеро трех только что родившихся котят. Спасли их, пищавших, под кустом спрятали, молоко принесли, а они и есть еще не умели, на другой день околели, там же, под кустом, на берегу этого лесного озера, похоронили их. Тетя Катя уже пожилая, очень добрая и спокойная женщина, пекла пироги с черникой, — специально топила печь деревенскую, чтобы нас пирогами накормить, и чтобы мы, городские, поспали на этой печи.

И нас брала с собой за ягодами, далеко в лес, на болота, где мы и собирали в бидончики матово-синюю, почти черную чернику. Собирали, правда, они с матерью, мы-то с Игорем баловались больше, то на дерево залезем, то сухостой начнем

валить, то «ау» кричать, будто заблудились.

Ездили в Челябинск и мы в гости. Я, мать, бабушка, сестры двоюродные Наташа и Валя, и родная сестра вроде бы, но ее, как обычно, не помню. Помню лишь момент, когда в парке раскачались здорово с Игорем на лодочке, а сестра моя от злости взяла и на тормоз нажала, чуть не вылетели с ним из этой лодочки и перепугались здорово. И еще помню, как ездили купаться на какое-то известное озеро (название забыл), и как отец Игоря, дядя Коля, каждый вечер приносил после работы пиво, и Игорь хлестал его вместе с ним, а тетя Аня, мать Игоря, говорила: «Пусть пьет, оно полезное». Однажды поймали у них в квартире летучую мышь. И еще помню, правда, плохо, мальчика по имени Артур, который жил с ними в одном доме и с которым мы дружили. Когда уже мы уехали, нам написали, что Артур этот играл на стройке с ребятами, и на него упала огромная лестница, задавила насмерть.

Потом мы стали взрослеть, стали реже видеться. Дядя Коля развелся с женой, тетей Аней, оставил ей и детям, Игорю и Оле, квартиру и переехал к нам. Владимировка стала вымирать, многим деревенским давали квартиры, и они уезжали в город. Дяде Ване почему-то не давали, и тогда он топором прорубил с двух сторон стены щель, наискосок, от пола до потолка, — дескать, дом аварийный, дал трещину. Приехала комиссия, составила акт, квартиру дали, Наташа и Валя вышли замуж, Валя с мужем уехала в Коломну вслед за моей сестрой, квартиру зарабатывать, Наташа с мужем-прапорщиком уехали в Германию.

Вовка, брат двоюродный, отслужив в армии, женившись, из Владимировки переселяться не стал, стал работать водителем на «КамАЗе». Вozил кирпичи и, приезжая на обед, понемногу сбрасывал, так на новый дом и набрал. Строили его вместе, дядя Коля, каменщик по специальности, руководил. Матери, тете Марусе и другим доставалась грязная и тяжелая работа — таскать, ломать, месить. Дом получился добротный, с большой мансардой, но Вовка так и не довел его до ума — с женой развелся и спился.

Вспоминая то время, давая какие-то оценки, боюсь показаться необъективным в силу сыновней любви к матери, но она, мать моя, добродетельная в бабушку, все больше и больше напоминает мне Матрену из известного рассказа Александра Солженицына. Чужим, не только своим, всегда готова помочь, бесплатно, по доброте душевной, и так же неловко было ей обращаться с просьбой к другим, и врача себе из поликлиники тоже всегда стеснялась вызвать, и этими поступками заслуживала неодобрительные отзывы иных, более практичных родственников.

После восьмого класса я ушел в ПТУ, выбрал специальность слесаря КИПиА, с тройками в девятом делать нечего, и средств нет, чтобы потом пристроить меня в институт или университет. Да и не горел я желанием учиться. Не желая получить систематического обучения, просвещался самостоятельно, читал то, что нравилось. И открыл для себя в те годы «Плутонию» Обручева, «Затерянный мир» Конан-Дойла, «Странников» Шишкова, да и еще много интересных книг. Позднее полюбил Паустовского, Гашека, Хемингуэя, Джека Лондона, Сэлинджера, тех авторов, кто заставлял сопереживать, кто парой строк мог выдавить из тебя слезу. Например, такие строки можно найти у Паустовского в его «Судьбе Шарля Лонсевиля» или в рассказе «Драгоценная пыль». Во многих его рассказах. Или у Бунина в «Жизни Арсеньева»: «В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захудалого русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?»

Паустовский сказал про эти строки, что их нельзя читать без душевного потрясения. Абсолютно с ним согласен.

Закончив ПТУ, я сам пришел в военкомат проситься в армию, и на меня смотрели там, как на сумасшедшего. Большинство ровесников пытались чудить, чтобы лечь в больницу и добиться отсрочки. То во время комиссии тайком в туалете каплю крови в мочу пустят, чтобы помутнела, то еще что учудят, а тут — нате, сам пришел. Подивились, дело перелопатили, нашли выписку от гематолога, где я продолжал состоять на учете, и отправили домой, сказав, что про армию могу позабыть навсегда.

Устроился тогда электромонтажником второго разряда на местный Механический завод, где выпускали для военных целей мины и гранаты, а для мирных — детские велосипеды. Три года проработал, и воспоминания о том времени остались самые приятные: зарплата сто рублей, добродушные мужики в бригаде, напарник Асым Хамзеевич, пожилой татарин, вечно страдавший с похмелья. Опохмелится и пропадет по своим делам. Я мотаюсь по заводу, знакомлюсь с практикантками в пирожковой или отковыриваю с электромагнитных пускателей серебряные контакты. Здесь же, на заводе, познакомился с сестренками-близняшками. Таня и Оля. С Таней и лишился невинности, потом по моему настоянию она сделала от меня аборт, и мы расстались. Не готов я еще был к семейной жизни, да и она была не тем

человеком, что был мне нужен.

Новые друзья, шпана, и сам такой же. Мотоцикл «Ява-350», купленный за 900 рублей, и бешеная езда с приятелями наперегонки по ночным улицам. Короткая кожаная куртка, танкистский шлем, в кармане плеер, в ушах наушники — «Мираж» или Си Си Кейч.

Помню девочку, тоже Таню, приехавшую к бабушке из Москвы. Мне восемнадцать, ей четырнадцать, но выглядит она взросло: стройная, грудь и бедра развитые, волосы длинные черные, в мелких кудряшках. Ее мать-экстрасенс по фамилии Рождественская, народ в столице лечит и дурачит, и Таня утверждает, что тоже обладает способностями. Я настроен скептически, но когда Таня говорит, что в прошлой жизни я был художником и жил на юге Франции, настораживаюсь. Так вот, значит, откуда во мне этот дар и потребность рисовать! Но она-то этого не знала, вот в чем дело. И еще Таня утверждает, что в прошлой жизни мы с ней были любовниками. Я прошлой жизни не помню, ни своей, ни ее, тем более, но, может, это намек? Мы у товарища в гостях, он с подружкой закрылся в своей комнате, мы с Таней закрылись в родительской спальне. А я пренебрегаю почему-то юным и желанным телом. Почему? Сам не могу ответить на этот вопрос. Может быть, испугался ее матери-колдуньи.

Скоро Таня уехала, была на меня сердита и даже не попрощалась.

Больше я ее никогда не видел, а жизнь продолжалась.

С друзьями только и смотрим, чего бы своровать. С легковушек снимаем ночью колеса и дефицитные тогда лобовые стекла, залезаем в гаражи, склады неохраемые — денег полные карманы, разъезжаем на такси. Потом — возмездие, следствие, три месяца в тюрьме, суд, три года условно. И первое упоминание о моей скромной персоне в местной газете: «У девятнадцатилетнего гражданина изъяты арсенал из сотен патронов, гранат „Ф-1“ и даже снарядов». Не верьте. Снаряды были, да, но такие, что годились лишь для того, чтобы поставить их на полку, как сувенир. Патроны были от строительного пистолета, каким дюбели в бетонную стену заколачивают. Граната действительно была «Ф-1», «лимонка», да, но всего лишь одна, и та учебная.

Про те три месяца можно написать отдельную книгу.

Друзья менялись, приходили, уходили, но мать продолжала оставаться матерью — не предаст, не бросит.

Невнимательный к датам, плохая память, — можно попытаться найти себе множество оправданий, но факт остается

фактом — я всегда забывал поздравить мать с днем рождения. Она никогда не напоминала, даже если я целый день, день ее рождения, мотался у нее на глазах, не утруждая себя вспомнить. Однажды решил — всё, хватит: подсмотрел незаметно в паспорте у нее, 7 октября, жду. Купил подарок заранее и седьмого октября, как положено, с цветами, лезу обнимать, поздравляю. Мать удивляется: «С чем поздравляешь, сынок?» — «С днем рождения, мам! Видишь, не забыл!» — Она добродушно улыбается: «Так он у меня прошел давно. Месяц назад». — Я удивляюсь: «Как так? В паспорте же написано!» — «Да перепутали в столе паспортном, когда паспорт меняла. День рождения седьмого. Седьмого сентября».

Если матери нужно было куда-нибудь по бумажным делам, редко когда получалось сходить удачно. Всюду она ходила по два-три раза. Придет, а там — обед. Придет после обеда — вообще закрыто. На почту пойдет до или после обеда, а там будто нарочно электричество отключили. В поликлинику — а там сам врач заболел. И так всюду. Я, иногда сопровождая ее в этих бесконечных походах, только дивился. Мать вздыхала: «Несчастливая я».

* * *

В 1992 году я уволился с Механического, устроился в тепличное хозяйство электриком, уволился через два месяца и оттуда, и все, с тех пор в моей трудовой нет ни одной записи. Скитался, занимался бутлегерством, иногда деньги водились, иногда нет, но мать никогда не бранила меня, не заставляла устроиться на какую-нибудь постоянную работу. Она видела, что еще я и пишу.

Я никогда не делился с ней, что пишу, о чем, для кого, она лишь видела меня, склонившегося ночами над пишущей машинкой, стучавшего, стучавшего... Рукопись в конверт, и идешь на почту. Потом, на время оставив машинку в покое, живешь ожиданием. Вот, думаешь, сегодня почтальон принесет тебе письмо, которое изменит всю твою жизнь. Ничего подобного. От издателей, от редакторов — ни ответа, ни привета.

Однажды мать рассказала, что до замужества жила в общежитии на ТЭЦ-2, самом захолустном районе нашего города, и по соседству с ней жил писатель Иван П., известный наш и уже умерший мордовский автор. И вот, дескать, говорила она, тоже он целыми днями и ночами пишет-пишет, а потом отправит рукопись и ходит каждый день на почту узнать, не пришел ли

ответ. И еще мать рассказывала, что тоже сочиняла стихи, писала рассказы, но никуда их не отправляла. И как-то (не верить матери у меня не было никогда оснований) она дала почитать свои творения писателю, и он разволновался невероятно, обещал, что уж это-то обязательно должны напечатать, и забрал их себе. А потом все это было опубликовано в местной газете, и он сам принес показать матери эту газету, но почему-то в авторах стояло... его имя! Мать, святой человек, на это свинство невероятное, на подлость эту, отреагировала с обычным смирением: на все воля Божья. Ни скандалов не стала устраивать, ни отстаивать свое авторство. И писать с тех пор бросила. А сосед ее вдруг стал востребованным, стали его печатать и ходил он уже не печальный, как раньше, а невероятно довольный. И подарил матери красивую шаль, которую она еще и с благодарностью приняла.

* * *

Сначала я пытался сочинять рассказы, потом написал фантастическую повесть «Гадальный дом Краффа». О старике сумасшедшем, который делал любому желающему не просто гадание, прогноз жизненный, а представлял полный отчет на видео — последние дни клиента. И три его клиента, два парня и девушка, решили выяснить, откуда у него вся эта информация на видео? Не связан ли он с нечистым, потому как все предсказанное им — сбывалось? И выяснили, что никакой он не чернокнижник, а чокнутый непризнанный изобретатель. Построил машину времени, и в угоду собственным прихотям и амбициям основал гадальный дом. Приходили люди узнать свою судьбу, а он на машине времени отправлялся в будущее, чтобы записать на пленку последние дни клиента. Вернувшись, вручал кассету клиенту за символическую плату, потому как не деньги были для него главное, гораздо важнее было для него упиваться собственным могуществом, быть на равных с самим Создателем, к которому он тоже собирался навеститься.

Повесть отправил, по-моему, в журнал или газету «Совершенно секретно», но ответа так и не получил. И рукопись не вернули, а был единственный экземпляр. Еще раньше, в конце восьмидесятых, наверно, написал роман «Фарцовщик» — тогда это было актуально, модно. Отправил его в какой-то журнал, название уже не помню, и вскоре получил рукопись обратно вместе с письмом: дескать, роман понравился, но напечатать его не смогут, так как журнал по объективным причинам

закрывается.

Рассказ «Мать и сын» напечатала местная газетка, о том, как дурачок один деревенский, не имея никого, кроме матери, выкопал ее, умершую, притащил в дом и усадил с собой рядом на завалинку, как в прежние счастливые времена.

И еще напечатали в те времена рассказ мой «Кукла», и еще какие-то юморески, и везде, отправляя письмо, я ставил на конверте несуществующий обратный адрес и подписывался вымышленным именем. Для чего так делал — сам до сих пор не знаю. Но материнское сердце не обманешь, однажды показала мне газету с этим рассказом, «Мать и сын», и говорит: «Ты написал». Представляете?

И еще довелось помотаться по кабинетам мордовского книжного издательства, не год, не два, прежде чем мне вынесли там вердикт — рукопись не подходит, отказать. И все эти мытарства я подробно описал в романе «Как написать бестселлер», в сокращенном виде опубликованном в местном журнале «Странник» в 1999 году. С этим романом и еще одним, криминального жанра, я помотался вдосталь по московским издательствам, приезжал в столицу, привозил текст, уезжал, ждал звонка, не дождавшись, звонил сам, а потом ехал снова, чтобы рукопись забрать. Несколько лет угробил, и так никуда их и не пристроил.

В 2001 году отвез новый роман «Несколько мертвецов и молоко для Роберта» в известное питерское издательство «Лимбус-Пресс». В Москве был филиал, и когда я позвонил туда и поинтересовался, рассматривают ли они тексты начинающих авторов, мне дословно был дан такой ответ: «Если вы считаете, что действительно написали выдающееся художественное произведение, привозите». Мужской голос с картавым еврейским акцентом.

К такому повороту событий я не был готов, и это меня поначалу озадачило. Что значит — выдающееся? Я — автор, начинающий, но не критик, не рецензент. Да и опять же — самому себе трудно дать объективную оценку. Возомнишь о себе, что гений, что да, написал выдающееся произведение, скажут, у парня мания величия. Промямлишь нерешительно и робко, что произведение так себе, среднее, подумают, графоман, и неизвестно, захотят ли вообще прочесть.

В общем, размышлял я, прикидывал так и этак, и выходило, что выход один — рукопись отвезти, хотя это уже и намекало нескромно о выдающихся художественных достоинствах произведения.

Повез. Ночь ехал до столицы, утром нырнул на Казанском

вокзале в метро. Выполз из-под земли на станции «Баррикадная». Кругом люд, толчея, автомобили диковинные, как «тарелки» инопланетные, и я — с папкой. Перешел на зеленый Садовку и стал искать нужную мне улицу, — кругом особнячки двухэтажные, таблички поясняют, что там посольства экзотических государств. Нашел, наконец. Улицу, дом. Тоже двухэтажный особнячок, внутри убого, а на первом этаже Союз композиторов и магазин нотный, еще книжный магазин полусырой и подобие кафе на три столика. Приперся я рано, заказал чай с лимоном в этом кафе захудалом, и никак не мог взять в толк, как это здесь, в убожестве таком сыром, может находиться Союз композиторов, и как здесь, на втором этаже, заключают договора с такими известными писателями, как Лимонов, Астафьев.

Я пил свой чай и ждал, пока придет кто-нибудь в редакцию. Четыре стакана выдул, очень медленно, по глоточку маленькому, и лишь к обеду притащился кто-то, да и то не в «Лимбус», а в соседнюю дверь, я там рукопись и оставил, попросив, чтобы передали.

Потом уехал домой, и снова месяцами жил ожиданием. Иногда звонил, справлялся. Тот же мужской голос с еврейским акцентом обнадеживающе твердил: «Читаем, читаем. Знаете, думаю, все будет хорошо».

Это вселяло надежду.

А однажды этот голос сказал, что роман будут печатать, и мне нужно приехать, чтобы подписать договор. Радость была неопишуемая.

И перед поездкой в столицу я проконсультировался с Костей С., главным редактором и отцом-основателем «Странника», мы уже были с ним в хороших приятельских отношениях, и он сказал, что столичные издательства платят не меньше трехсот долларов за авторский лист, и я прикинул, что тысячи две должно набраться. Уехал, воодушевленный, и в редакции, когда спросил о сумме гонорара, мне ответили: «Триста долларов». Так и есть, подумал я, но на всякий случай решил уточнить: «За один авторский лист?»

«Нет, за всю книгу», — ответила мне Виктория Фомина, сотрудница издательства. Я почувствовал себя оскорбленным и облапошенным сверх всякой меры, но деваться было некуда, подписал. Искать годами издательство, которое предложит больше? Решил, что лучше синица в руке.

Потом, приезжая еще не раз в этот особнячок, я узнал, что голос с еврейским акцентом принадлежит Михаилу Исаакиевичу Синельникову, известному переводчику и поэту, который первым

рецензировал мой роман. И это было большой удачей, что рукопись попала именно к нему, потому как всегда нужно найти не просто издателя, редактора или рецензента, тебе нужно найти единомышленника, сообщника, влюбившегося в твой текст, и тогда можно лелеять надежду, что твой текст издадут. Ведь и от Солженицына даже издатели долго отбрыкивались. Не каждому придется по душе твой текст, но не значит же это, что он обязательно плох.

Много лет спустя, когда я написал еще один роман и искал по Интернету литературного агента, потому как «Лимбус» и многие другие издательства текст отклонили, я отыскал питерское литературное агентство «Гумен и Смирнова». Я созвонился, сказал, что хочу предложить новый роман, и похвалился, что в издательстве «Лимбус Пресс» у меня вышел один роман в 2002 году, и тиражом-то пять тысяч экземпляров, и в шикарной-то серии «На одном дыхании», где печатают Жапризо и Кэмпбелла, и что роман мой возили во Франкфурт на ярмарку книжную, чтобы продать там и продвинуть на европейский рынок. И выяснилось вот что. Юлия Гумен, агент литературный, с кем я по телефону разговаривал, работала, оказывается, в «Лимбусе» в то самое время, и именно она ездила во Франкфурт на ярмарку с книжными новинками и моим в том числе романом. И еще выяснилось, что от романа моего она не в восторге, и тогда все стало ясно, все стало на свои места.

Указание получила, а собственной влюбленности в текст не было, вот в чем дело. И ничего она, понятное дело, не сделала, чтобы продать именно мой роман. Возможно, пошли тогда в «Лимбусе» в командировку Синельникова, теперь уже не работающего там, и, возможно, судьба романа сложилась бы более удачно.

И лишним всему этому подтверждением было то, что, прочтя новый мой роман, Гумен ответила, что в этот текст у нее тоже нет влюбленности, и потому работать с ним, то есть искать издателя она не будет.

Не успокоившись, я по электронной почте отправил ей сборник рассказов. И она ответила, что рассказы интересные, но предлагать их без романа нецелесообразно. И еще, что какое-то американское издательство составляет сборник российских рассказов в жанре нуар, и один из своих рассказов (она назвала, какой именно) я мог бы попытаться для них подготовить. Гонорар за рассказ 200 долларов, но главное условие — чтобы действие разворачивалось в Москве, в каком-то конкретном районе.

Я ответил, хорошо, и за пару дней смастерил такой рассказ, что пальчики оближешь, но Гумен ответила, что я их не убедил, и

они будут думать месяц прежде, чем дать ответ.

Через месяц ответа не было, через полтора стал писать сам. Юлия Гумен ответила, что рассказ им не подходит.

А что подходит? В телефонном разговоре с ней я узнал, что они продвигают всеми силами Ирину Денежкину, и ее перевели уже почти на двадцать языков. Я этому, честно говоря, подивился. Что продвигать, что переводить? Несколько рассказов, вышедших в «Лимбусе» отдельной книжкой?

Подивился, но не позавидовал. Чему завидовать? По-моему, Денежкина больше так ничего и не написала.

И хочу заметить. Я не пытаюсь здесь истечь желчью, говоря о ком-то, возможно, иногда заслуженно, гадости.

Я просто собираю осколки.

* * *

Интересное произошло раньше, когда я искал в Интернете электронный адрес этого литературного агентства «Гумен и Смирнова».

Пользователь из меня был никудышный, такой и сейчас остался, и вместо точного адреса я наткнулся на газетные статьи с упоминанием вышеуказанного агентства и людей, также ищущих это самое агентство. Спутница моя, жена гражданская Наталья, в поисках мне помогала, и вскоре мы откопали электронный адрес, что-то вроде Killer@mail, телефон почему-то рязанский, и ссылку на это самое агентство.

Я в толк не мог взять, как у литературного агентства может быть такой криминальный e-мэйл, и почему номер телефона — рязанский?

Наталья говорит, значит, в Рязани у них филиал. А адрес, интересуюсь я? Они что, не только литературные агенты, но и убийцы по найму?

Наталья жмет плечами, но все равно говорит, звони, ссылка-то была на агентство.

Делать нечего, звоню в Рязань, филиал не то агентов литературных, не то убийц наемных. Выяснилось, это домашний телефон некоей Елены Перепелкиной, тоже писательницы, которая сама ищет адрес этого агентства, и потому разместила там невразумительную информацию и свои координаты. А невразумительную потому, что сама она понятия не имеет, что такое Интернет, и по ее просьбе сын-лоботряс составил текст для паутины, да, видно, что-то напутал, и адрес этот дебильный тоже его.

Делать нечего, стали разговаривать. Вернее, я только слушал, потому как у нее, видно, наболело, и она слова не давала мне сказать.

Оказывается, дело было вот в чем. Она написала книгу «Тайна Высшего Разума» (тема — эзотерика), и тоже в Питере нашла издателя, который заплатил ей две тысячи долларов, и пропал. И она, Елена эта, поносила всячески своего издателя, утверждая, что он переиздал ее книгу уже пять раз, а сам от нее скрывается, чтобы, значит, не выплачивать положенные проценты. И, дескать, она написала вторую книгу, продолжение, и потому ищет литературного агента, чтобы книгу продать порядочному издателю.

И здесь она подтвердила истину о том, что каждый творческий человек пусть в глубине души, но твердо убежден в неповторимости и исключительности своего таланта. Она совершенно серьезным голосом сказала, что «эта вторая ее книга вообще тянет на Нобелевскую».

Я повесил трубку с улыбкой, пообещав, что обязательно пришлю ей адрес «Гумен и Смирновой», как только найду.

Обещание сдержал. Нашел, отправил. Не знаю, влюбились ли там в ее текст или отфутболили, как меня. Хотя — кто знает. Может быть, уже мантию сидит шьет или что там, не знаю, чтобы было в чем на вручение Нобелевской премии явиться.

* * *

В московском отделении «Лимбуса» работали люди сплошь творческие. Да так, наверное, везде. Человек пишущий, чтобы не помереть с голоду, должен сидеть в редакции и обрабатывать чужой текст, потому как на свои тексты не проживешь.

Фомина Виктория, редактор вроде бы, но, оказалось, что и она пишет. Подарила мне (вернее, тьфу ты, продала) свою книжку «Полковнику никто не пишет», вышедшую в московском издательстве «Подкова».

Черноволосая, очень приятная женщина Татьяна Николаевна, которая, встречая меня, всегда предлагала чашку кофе, оказалась замечательной русской писательницей Татьяной Набатниковой. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть ее книжку рассказов «День рождения кошки». В «Лимбусе» она тоже выполняла что-то вроде редакторской работы, приезжая на синей «десятке».

Люди славные, и даже бухгалтер, забыл, как ее зовут, хотя и морочила голову мне несколько месяцев, прежде чем, наконец-то, выдала несчастный гонорар. И то не триста долларов, а двести

пятьдесят вроде, полтинник вычли на налоги разные, в фонд пенсионный, чтобы старость обеспеченная, и все такое. А что такое двести пятьдесят долларов? На телефонные междугородные разговоры и на поездки в столицу и обратно больше истратил. В лучшие дни за ужин в ресторане с девушкой столько платил.

Да и не нуждался я особо в этих деньгах. Но одно дело — легкие деньги, заработанные нелегальной продажей осетинского спирта, и совсем другое — гонорар за вымученную, выстраданную книжку.

В «Лимбусе» я познакомился со Светланой Сачковой, тоже автор молодой, тоже принесла свои тексты, и потом мы вышли из «Лимбуса» и она привела меня в какой-то огромный книжный магазин, где показала свою продававшуюся книжку «Одна жирафья жизнь, или Женщина детородного возраста».

Наверно, так просто книжки не показывают, и я купил себе экземпляр. Правда, забыла она книжку подписать и автограф поставить.

Потом мы отправились куда-нибудь посидеть, и она искала, чтобы кафе было с кондиционером, потому как лето было, жара, и нашли какое-то полуподвальное помещение, но внутри было красивое: стены грубые, темные, шершавые, словно грот. В стенах ниши выдолблены под светильники, столы двойные, а под стеклом небрежно насыпаны монеты старинные, ракушки и еще разные забавные вещицы.

Света рассказала, что закончила философский факультет Нью-Йоркского университета, живет в Москве, а родители — в Америке.

Мне похвалиться было нечем, и я предложил ей меню, которое принесли. Она выбрала суп с какими-то потрошками, я заказал себе пиво. Она рассказала, что написала новую книгу, и ищет издателя. Оставила рукопись в «Лимбусе», но ей сказали, что, скорее всего, будет отказ. Еще рассказала, что с мужем в разводе и одна воспитывает сына. Я сообщил, что тоже один воспитываю сына, с первой женой разошлись, и ребенка она великодушно оставила мне, хотя, если быть точным, матери моей, потому как все заботы о воспитании на ней и лежали. А мы, родители, жили порознь и в свое удовольствие.

Потом со Светой мы какое-то время созванивались и переписывались, и я запомнил в одном письме такую фразу: «Сидим с подругой, пьем пиво и мечтаем о большой любви...» А еще как-то встретились, когда я был в Москве, зимой. Встречу назначила она мне в центре, забыл и метро, и улицу, потому как был на машине, и приехал намного раньше, чтобы не опоздать и не затеряться в пробках.

Ориентиром мне служили кафе «Шоколадница» и рядом японский ресторанчик, и пришла Света не одна, с другом. Маленьким лысым толстячком по имени Валера. Тоже писатель, на вид свирепый, но в общении какой-то жеманный и женственный. Потом Света написала мне, что Валера голубой и печатает в какой-то газете (название забыл) порнографические рассказы. Живет на папину пенсию.

Рядом проходила книжная ярмарка, и в «Шоколадницу», где мы заняли столик, стали стекаться люди. Дарью Донцову я сразу узнал, узнали ее и Света с Валерой, и многие стали посматривать на невозмутимую Королеву Детектива. В короткой дорогой шубке, с серьгами бриллиантовыми, она оказалась намного выше ростом, чем я предполагал. С ней был спутник, молодой предупредительный человек, в костюме, при галстукке, с портфелем солидным. По возрасту то ли сын, то ли любовник.

Я изъявил желание пойти взять у Донцовой автограф, но Валера страшно заволновался и стал меня отговаривать. Света поддакнула ему, что, действительно, неудобно.

Я отказался от своей затеи, и все мы, разговаривая, то и дело посматривали в сторону Донцовой, было интересно: что закажет, как ест.

Валера цитировал Достоевского, Свету Достоевский не интересовал. Ее почему-то занимала книжка Григория Чхартишвили (настоящая фамилия Акунина) «Писатель и самоубийство». Я книгу читал. И почему-то подумал, что неужели она примеряет это к себе, мечтая попасть в список? Автор Фандорина талантливо и скрупулезно собрал по миру данные не только об известных писателях, покончивших с собой, но и совсем безвестных, прославившихся если не своим текстом, то способом ухода. И еще он, Чхартишвили, в конце книги предлагал присылать информацию о тех, кого в свой список не внес. Так что попасть в список и прославиться шанс есть. Достаточно написать несколько рассказов и выбрать поизощреннее способ.

А повод, если посудить, у Светы был. В «Лимбусе» книжку ее отклонили, и в других издательствах, где предлагала ее, тоже. И, сказала она, начала писать новую, но стимула нет, потому как старую еще не опубликовала, да и о любви большой продолжает мечтать.

Ни я, ни тем более Валера не могли подарить ей это волшебное чувство. Он — гомик, а у меня в родном городе и без того было баб навалом, и без того одни от них неприятности.

Донцова и ее спутник, выпив то ли по коктейлю шоколадному, то ли по мороженому съев, ушли. И я еще раз подивился, что она совсем не маленького роста, как я ожидал.

Мы тоже стали закругляться. На прощание я подарил Свете свою книгу, вышедшую не так давно в «Лимбусе», и я заметил, как завистливо блеснули глаза Валеры. Завидовать было чему. Обложка стильная, листы белоснежные, пахнут свежей типографской краской. И пусть сам из провинции приехал, Тмутаракани, зато на машине приличной, и живу не на папину пенсию. Да и не педик, наконец.

* * *

Было у меня еще несколько запомнившихся мне встреч с писателями.

Самая первая произошла, конечно, с Костей С. В его журнале напечатали первую мою повесть, и поначалу, приходя в редакцию, я не знал, что он тоже пишет. Но потом выяснилось, что пишет и не один, в соавторстве с супругой Анной, и публикуют свое совместное творчество под псевдонимом Юрий Самарин. Мы как-то сразу сблизились, нашли много общего, он в свое время тоже помыкался, прежде чем стали печатать, тяжело далась и издательская деятельность, и еще запомнилось мне вот что. Я называл ему имена в нашем мордовском издательстве, к которым питал лютую неприязнь за то, что получал от них пинки. Костя был постарше, и пинки получал, соответственно, от других товарищей. Но поразило, когда в числе прочих он назвал имя Ивана П. Того самого, который бессовестным образом украл стихи и рассказы моей матери. Я Косте не стал рассказывать ту историю, но узнал от него, что тот писатель какое-то время был важной шишкой в литературной жизни нашей республики, и когда касалось дело молодых дарований, рецензию написать или отзыв дать, попросту рвал и метал, не желая давать молодым дорогу. Досталось от него и Косте.

Странно, правда? Выдать однажды без зазрения совести чужие тексты за свои, а потом, спустя годы, изгаляться над молодыми авторами, обвиняя в штампах и плагиате. Нелепее трудно что представить.

Еще запомнилась встреча в редакции «Странника» с московскими гостями, на которую меня пригласили в числе других саранских авторов. Приехали тогда важные, солидные, Владимир Е., главный редактор «Литературной России» и писатель, Вячеслав О., его заместитель и критик, и лохматый и бородатый поэт Т. Все дородные, прилично одетые, мясистые, как сказал бы Лимонов, и мы вокруг — разношерстная провинциальная публика, бедолаги. К тому же О. — вылитый

саранский авторитет по кличке Калека. И манера разговаривать, и жесты, и очки темные той же формы, что любит носить Калека. Калеку я знал, потому так и хотелось подойти к московскому гостю и сказать: «Кончай дурака валять! Ты-то что тут делаешь?»

Мы смотрим московским гостям в рты, лица у них сытые, довольные, и они нас потчуют столичными новостями: кто исписался, кто конъюнктурщик, а кто и вообще бездарность, несмотря на то, что издает книжки стотысячными тиражами.

Похвалились перед нами своей изданной недавно на троих одной книжкой: тощий сборник, по-моему, стихов так и назывался «На троих».

Дело ясное: друзья неразлучные. Отправляют сами себя в творческую командировку от жен подальше, путешествуют по российским просторам, собирая вокруг себя юродивых, вроде нас, а вечером в гостинице соображают на троих. Месяц пробухали, без жен вдохновились с музами почасовой оплаты, а там, глядишь, сборник созрел. «На троих». Глупое название. Да и женам сразу ясно, в каких творческих командировках рождаются подобные книжки.

Тем, кто, прочтя о себе, попытается найти в этом тексте что-то неблагоприятное и оскорбительное, скажу еще раз: господа, не волнуйтесь, повода для беспокойства нет. Ничего личного. Я просто собираю осколки.

Еще была такая встреча. В Москве, на Люберецком авторынке. Нервный бутлегерский бизнес, дружба со шпаной, и вот я несколько месяцев скрываюсь от недругов в Подмоскovie, снимаю квартиру и бездельничаю, раскатывая на машине. Дома осталось еще одно авто, и два друга моих, тайно сняв его в родном городе с учета, пригнали мне, чтобы продать.

Денег с собой почему-то оказалось столько, что едва хватило заплатить, чтобы на рынок заехать. И бензина в «шестерке» нашей в обрез, а — зима. Даже в туалет платный не на что сходить, но мы не расстраиваемся. Двигатель не заводим, бензин экономим, потому как, если машину не продать, еще и обратно ехать. Печка не работает, естественно, если двигатель выключен, стекла замерзают, сидим и мерзнем за тонированными стеклами, бумажку с ценой на лобовом стекле то и дело меняем — цифры уменьшаем. Но и это не помогает, клиента нет. Тогда вывешиваем еще одну бумажку, информируя всех, что недорого продадим четыре колеса — резина, диски, в сборе, они у нас в багажнике лежат. На колеса желающих тоже нет.

Чтобы погреться, по очереди вылезаем из машины и прогуливаемся по рынку, разглядывая «Мерседесы» и «Фольксвагены». Мне всюду недруги мерещатся. Время

послеобеденное, скоро темнеть начнет, быстро, по-зимнему, и потому звоню зятю — мужу сестры, добрейшему и безотказному человеку, чтобы приехал и денег на бензин привез. Сами обратно вряд ли дотянем.

Снова сидим в машине, мерзнем, и тут видим его. Строгое черное пальто, штиблеты узконосые, модные, со шпорами, рубашка белая, галстук, цельная норковая шапка на голове, вид, словом, у мужчины солидный, респектабельный, и не можем взять в толк, что он так на машину уставился? Уверенный взгляд, спокойная и серьезная кавказская внешность. Он не был похож на человека, приценивающегося к бэушной «шестерке». Глядя на этого человека, можно было предположить: или хозяин этого авторынка, или присматривает дорогу свежую иномарку.

Но, оказалось, мы ошибались. Он вернулся, стал прицениваться, с ним еще один кавказец, но одет небрежно, горластый. Тот, первый, говорит тихо, не перебивая, с хрипотцой. Пока разговаривали, пока горластый торговался, пока другой вел себя сдержанно и в разговор практически не вступал, приехал зять, выпивши, не сам приехал, товарищ его привез. А зять мой книгочей, каких поискать, любитель боевиков, детективов, ширпотреба разного, и вот он, пьяненький, увидел нашего покупателя и полез к нему обниматься: «Заур Магометович! Дорогой!» — словно друга старинного встретил. И: «Я вас сразу узнал!»

И выяснилось, что покупатель наш — Заур Зугумов, автор книги «Бродяга», где он рассказывает о молодости, жизни воровской, о двадцати или тридцати годах, проведенных за решеткой, о побеге, о камере смертников, в которой провел несколько месяцев, прежде чем приговор смягчили. Начинал карманником, добился заслуженного уважения в среде шпаны и уголовников, и водил дружбу с самим Пашей Цирулем, хранителем воровского российского общака, ныне, правда, давно покойного. Теперь вот, книжки пишет.

Видя, что его рассекретили, Заур и сам стал потихоньку разговариваться. Рассказал, что сам он из Дагестана, из Махачкалы, но, когда приезжает в столицу, нужна машина, чтобы в издательство ездить, туда-сюда, пояснил он. А горластый — родственник его, дрожжами торгует на рынке, и в машине у него не продохнуть. Рассказал, что книжки его выходят в издательстве «АСТ», что у «Бродяги» уже есть продолжение, и что недавно ездил во Францию делать операцию — удалили часть легкого, изъеденного туберкулезом.

Зять нарадоваться не мог: Заур и расписался ему где-то в блокноте и телефон мобильного оставил, и жалел, что книжки с

собой нет, иначе непременно подарил бы.

Мне Заур как-то сразу внушил симпатию: не наглый, умеет слушать. Мне это понравилось, и, может, именно поэтому он старался построить разговор между нами двоими. Пока его горластый родственник, обходя машину, отыскивал на кузове изъяны и громко о них сообщал, Заур шепнул мне: «Что с него взять? Торгаш. Разговаривать с людьми вообще не умеет».

Мы умели. И общение умели ценить. Сбросили Зауру цену, хотя он не просил. И колеса в багажнике оставили, и дорогую магнитолу, хотя и планировали не отдавать ее вместе с машиной, и это был не развод, не сделка себе в убыток. Просто я и товарищи мои были такие же скитальцы по жизни, такие же бродяги, не умевшие ценить материальное, легко расстававшиеся хоть с автомобилем, хоть с рубашкой последней. Покупатели тоже хороши — какие-то царапины горластый на кузове отыскал, а под капот они даже не заглянули.

Пока на рынке же нам печатали договор купли-продажи, мы сидели в небольшом кафе. Заур пил водку, хотя перед этим сказал, что пить ему категорически нельзя. Зять тоже пил, и все восторгался, что ему довелось встретиться с самим Зауром Зугумовым. Остальные пили чай.

Я тоже был рад встрече: как же, писатель, книжки в «АСТ» выходят. Заур опять много рассказывал, мы слушали, а мне хотелось уточнять: какой за книгу получил гонорар, есть ли публикации за рубежом, да и вообще хотелось похвалиться, что у меня тоже книжка вышла и тоже получил гонорар. Двести пятьдесят долларов. Но ни зять, ни друзья не знали, что я давно и безнадежно занимаюсь сочинительством, и посвящать их в это именно сейчас — не хотелось.

Договор напечатали, Заур отсчитал мне деньги, я вручил ему ключи. Он сел за руль, сказав, что давно не ездил, мы распрощались. Немного отошли, а он из машины кричит: «Юра, подойди!» Я подошел, Заур говорит: «Не трогаются машина! Не едет». Я сел за руль, проверил, все нормально. Отвечаю: «Брат, ты педали перепутал, дави на газ, а не на тормоз».

Тронулся, машина, дергаясь, поехала. Горластый родственник пошел к своей машине с дрожжами. Мы стоим, смотрим Зауру вслед, удивляемся: стемнело, гололед, педали путает, водки вдобавок выпил. Как доедет?

Наверно, доехал. Однажды в Интернете я прочитал интервью министра внутренних дел Дагестана, возмущавшегося, что бывший уголовник, а ныне писатель Заур Зугумов, разъезжая по родной Махачкале, специально нарушал правила дорожного движения, провоцируя инспектора на взятку. Всем дал денег, всех

переписал, а потом сочинил об этом беспределе статью. И датировано это было временем, когда он купил у нас машину. Марка машины, в которой Заур нарушал правила, не была указана, но я подумал: не та самая ли «шестерка»?

* * *

В детстве, помню, меня всегда возмущало, что практически в любом разговоре, с родственниками ли, с соседями, да и с посторонним человеком мать всегда почему-то старалась сказать обо мне, хотя говорить, в принципе, было нечего, учился плохо, лоботрясничал. Я этого не мог понять, меня это злило, теперь, спустя годы, понимаю: происходило все это потому, что у нее, матери, больше ничего в сущности и не было.

Муж, отец мой, который бил ее, издевался, да и то не она мне это сказала, потом — родственники. Приносил вино, садился на кухне пить, а одному скучно, и потому она, уставшая за день, работа и дети, должна была еще покорно сидеть и смотреть, как он напивается. Однажды, она была беременная мной, отец разбил ей голову. В другой раз, тоже родственники рассказали, он отобрал меня, младенца, у матери, отправился гулять. Ночь, зима, пьяный. Мать отшвырнул и вернулся, одеяло развернутое, ножки у меня, заходившегося в крике, торчат посиневшие. С тех пор, опять же родственники сказали, я стал часто болеть, простывать.

Я не испытываю к отцу ненависти, я его совсем не помню, чтобы осуждать, и даже поставил ему новый надгробный камень, потому как мать всегда вспоминала о нем только хорошее, и всегда на родительский день и 23 августа, когда он погиб, ходила на кладбище прибираться, и я с ней. И еще рассказывала, что он был первым сталеваром Мордовии, личность известная, и что его портрет долго висел в местном краеведческом музее. Я всему этому верил, но мне хотелось понять: неужели в супружестве святым всегда достаются демоны?

* * *

Если бы я задался целью составить свое генеалогическое древо, лучшим для этого временем была бы холодная осень 2006 года, когда мать, больная, тихая, но еще встававшая, чтобы покушать и в туалет, лежала на своей кровати. Я садился на диван напротив, и она, радовавшаяся единению с любимым

сыном, потому как раньше поговорить всегда некогда, всегда дела, — рассказывала, рассказывала...

Пеняя на дырявую память, жалею, что не записывал. Теперь вся надежда на осколки.

Родители моего отца, дед и бабка, историю любви и трагедии которых можно положить в основу какой-нибудь мелодрамы. Сороковые, война, тыл, у деда бронь, он на заводе военном работает, бабка (странно это писать и произносить сейчас — «бабка», ей в то время было двадцать с небольшим, младше меня была намного и она, и дед) медсестра в госпитале. Дальше помню плохо, но что-то связанное с работой — то ли технику на заводе разгружали, то ли придавило чем, но у деда завороток кишок. Его в больницу, как раз в дежурство жены, а единственный хирург пьяный, и он, дед, на руках жены и умирает. Она идет домой, целует сына Альберта, отца моего, дочку Галю, ему три годика, ей на год меньше, идет опять в больницу, выпивает что-то из склянки и умирает возле своего мужа. Хоронят их вместе, а отца моего потом усыновила баба Дуня, Галю — другие добрые люди.

Сухо, скупое, но, если пофантазировать, можно дополнить все это художественными подробностями: лампочки больничные, врач пьяный, молодая женщина в белом халате бредет по грязи и холоду домой, чтобы попрощаться с малышами своими, глаза детей, яд в склянке.

Теперь родители матери. Ее мать, бабушка моя святая, родилась в 1910 году, и матери лишилась очень рано, воспитывала ее мачеха, а мачехи — дело известное. Рано вышла замуж, а отца ее раскулачили и с семьей отправили в Сибирь. Она с мужем осталась, деревенька в Старошайговском районе Мордовии. Первая дочка, Соня, умерла малышкой, потом родились еще трое, Ваня, Коля и Таня, мать моя. Когда война в сорок первом началась, мужа Федора, деда моего, забирают, но в середине войны приходит, не то израненный, не то больной. Выбрасывают его провожающие на повороте, а до деревни сорок километров. Мелкими шажками бредет домой, по грязи, опять же по холоду. Неделю идет эти сорок километров, и одному Богу известно, где он ночевал и что ел. А потом, когда почти дошел, кто-то из деревенских увидел его и сообщил бабушке. Она лошадь в колхозе взяла, запрягла, и встречать бросилась, а он уже сам почти пришел. Мать вспоминала, что он еле ноги передвигал, сидел подолгу на лавке и вздыхал, чувствуя, что стал обузой, потому как и работать не мог, и лечить некому. Той же осенью и повесился в сених. Матери шесть лет было, и она хорошо запомнила покачивающиеся в сених ноги своего отца.

Вот такая грустная наследственность, такие неразвившиеся

ветки на древе, срубленные в самом соку.

Рассказывала мать о себе, и там тоже было мало веселого. В войну вечно голодные, ели хлеб из лебеды, а бабушка в колхозе работает за палочки и лишь бы зерна горсть детям принести или картошку мерзлую из земли тайком выковырять. Такой выбор был: или укради малость, или с голоду помирай.

В восемь лет мать отправили в Казань нянкой работать. Сидела с девочкой годовалой. Год там пронянчилась, но назад привезли, не заплатив ни копейки. Саму кормили, и то ладно.

В четырнадцать поехала с подругами под Свердловск, на разработки торфяные, матери и братьям помогает, здесь — платят, шлет каждый месяц посылки с крупой и сахаром. Потом в колхозе своем — дояркой.

А дальше в жизни то же самое — тяжкий непосильный труд, бескорыстная помощь родственникам, знакомым. Сорок почетных грамот, значки отличия, медаль «Ветеран труда». И записи в трудовой книжке, которую я впервые листал, когда оформлял ей первую группу инвалидности.

«Стаж работы по найму до поступления в строительное управление № 2 один год». «Принята в строительное управление № 2 разнорабочей 3 разряда». «Переведена землекопом 1 разряда». «Переведена асфальтоукладчиком 3 разряда». «Уволена по собственному желанию». «Принята в ремонтно-дворовый цех дорожной рабочей 3 разряда». «Уволена». «Принята». «Присвоено 3 разряд бетонщицы». И последнее место работы: «Центролит, стерженщица». И потом уже записи о присвоении повышенного разряда, объявление благодарности, констатация выдачи грамот и денежных премий.

Так и хотелось возмущенно воскликнуть: «Погодите, погодите! Какой землекоп, какой асфальтоукладчик, какая бетонщица? Это же моя мама, маленькая, хрупкая! Неужели для нас, убогих, нет в этой жизни ничего хорошего?»

По всей видимости, да, ничего нет.

Но так думаю я, мать так не думала, никогда не жаловалась на судьбу, не роптала.

* * *

И даже заболев, смиренно терпела все, что судьба преподносила. В поликлинику несколько месяцев проходила, жалуясь на недомогание, на похудение внезапное, а врач участковый посмотрит анализ крови и мочи и говорит: «Все в порядке».

Потом приступ боли, врачи из «скорой» брать не хотят — не аппендицит и не температура, а мать уже вещи в больницу собрала, надеялась, что помогут. Врачи брать отказались, она и не спорит, руки опустила, сидит на кровати молча, рядом сумка с вещами, ложкой, бокалом для больницы.

Я и Наталья поругались с ними, и тогда забрали, я тоже поехал. В приемном покое народу было много, и, помню, двое милиционеров привели мужика в наручниках, а он так бездарно притворялся, ойкая и держась за живот, что и больные, и даже врачи смеялись.

Мать не смеялась, сидела скромно с сумочкой своей на кушетке, грустная. Быстро взяли анализы, просветили рентгеном, и молоденький совсем врач испуганно и тайком, чтобы мать не слышала, сказал мне: «Ей в онкологию надо».

Мы поехали обратно, она все поняла, но я еще почему-то надеялся.

И вот на другой день с утра мы в онкологическом диспансере, в который я протаскался почти два десятка лет, пока стоял на учете. В регистратуру — не протолкнуться, заняли очередь, выстояли, на втором этаже мать встретила знакомого, тоже грустного, сидел с карточкой возле кабинета.

«Товарищ отца, — пояснила мать. — Когда квартиру получили, он дополнительные секции батарей установил».

«Пусть теперь приходит и доплачивает», — пошутил я. На днях приходили из домоуправления и считали, у кого сколько секций: если лишние — доплачивай!

Быстро сделали ФГС, и, когда мать вышла из кабинета, зашел я.

— Рак желудка четвертой стадии, — сказала мне врач.

И все, больше можно было не спрашивать. Год назад умер дядя Ваня, тоже от рака желудка, хотя у него была вторая стадия, и операцию делали. А здесь — четвертая. Консилиум принимал быстро, зашел — вышел, кто на операцию, кто домой помирать. Я зашел вместе с матерью.

— Опухоль неподвижная, — сказал хирург, пощупав ей живот, и стал мыть руки.

Мать вышла, а я остался. Хотелось услышать что-нибудь обнадеживающее, но не услышал. Только домой, потому как оперировать нет смысла, опухоль проросла на соседние органы, и химиотерапию при опухоли желудка тоже не делают.

— Что-нибудь? — сказал я. — Лекарства какие-нибудь, средства народные?

— Ничего, — ответил мне.

Помню один сон незадолго до того, как мать заболела. Строгое, как на иконах, лицо Иисуса Христа, и он мне говорит: «Только цифра 2 имеет значение».

Я сначала не мог сообразить, что за смысл таится в этих словах, потом, много позже, сообразил: два месяца всего прожила мать после того, как поставили диагноз.

Подробности ее кончины, наверно, не стоит описывать, и действительно, зачем? Страшные мучения, ужасное зрелище. Сестра, приезжавшая, чтобы устроить очередную истерику, чтобы закатить скандал. И в день похорон, и на поминках она не могла себя сдержать, — намерения вроде благие, но ее словно раздирало от злости и ненависти. И еще обвинения, что это я — причина смерти матери. Бестолковое, скандальное существо. Я любил мать.

Хотя и холодными ноябрьскими теми ночами желал своей матушке только одного — скорой смерти. Побыстрее отмучиться.

Все отдал бы, чтобы ее вылечить, ходил в церковь, заказывал обедни за ее здоровье, ездил к знахарке, привозил от нее водичку наговоренную, как когда-то она мне, но смысла в этом не было. И я думал, что ничего ужаснее не бывает, что хорошо умирать чинно, а тебе внуки и дети подносят что-нибудь вкусное, но здесь было не так. Под конец она не могла и воду пить. Маленький глоток сделает, и обратно непрерывный поток крови, сгнивших внутренностей, запах, страх. Запах, запах. Племянницы мои, внучки моей матери, приехали, чтобы ухаживать за любимой бабушкой, а иной раз подойти к ней боятся. Тазик убрать, выпростать, полотенце пропитанное поменять. «Сидите, я сам». И так целыми днями, ночами.

Сестра привезла книгу примет и совала ее мне: «Посмотри, что написано? Хорошие люди умирают легкой смертью, а негодные мучаются. Чем негоднее человек, тем дольше мучается».

Господи, зачем она это говорила? Зачем притащила эту книгу? Да и где было набраться ей, матери, за свою серую однообразную жизнь грехов, чтобы расплачиваться таким страданием?! Всю жизнь для других, всю жизнь в труде тяжком. Но я от бессонных ночей и всего этого ужасного соображал плохо и послушно листал книгу, подумывая: может, действительно стоит прорубить потолок?

И еще запомнилось в той книге утверждение, что цветок в комнате, где умирает человек, тоже погибает. Это не так, уверяю. Год с лишним прошел, а материнский цветок из комнаты живет, расцвел и дал отростки. Не стоит обманывать себя суевериями,

они от слова все, пустое, значит... И необязательно человек расплачивается за старое, даже если оно есть, страшное, мерзкое, потому как Бог есть любовь, но не месть. Как сказал мне знакомый священник, мучениями человек прокладывает себе дорогу к Богу. А мать — вовсе святой человек... За один день тех нечеловеческих страданий она заслужила место на небесах, а было их — два месяца.

Вечером 27 ноября 2006 года моя несчастная матушка, отмучившись, умерла.

До этого поумирало еще много знакомых, родственников, соседей. Умер от рака крови Рашид, прицеплявший наши санки к своему «Минску». Умер еще парнишка из нашего подъезда — от рака кишечника. Учительница начальных классов из соседнего дома — от рака крови. Алкаш Гена, носивший на плече кошку Моську, как пират попугая, захлебнулся блевотиной. Бабушка Дуня, приемная мать отца моего и которая очень меня любила, умерла в восемьдесят третьем или в восемьдесят четвертом, — родственники сообщили много позже, оправдываясь, что пусть она останется в нашей памяти такой, как при жизни. Возможно, они правы. Умерла она от рака. Умер дядя Ваня, годом раньше — дядя Коля. Нюраха умерла в приюте, доме для престарелых, потому как детей у нее не было, муж умер раньше, а те, кто купили ее дом, вывезли с чердака целый грузовик барахла — сапоги, шубы... Спилась и разбилась насмерть, свалившись с балкона, одноклассница Светка Калачева. Колька Шмелев, одноклассник, хороший и веселый парень, повесился. И еще, наверное, умерли многие, те, о ком не знаю.

Моя жизнь мало изменилась. Пишу, отсылаю, потом жду. Раньше заглядывал в почтовый ящик на двери, теперь — в электронный.

Мне сорок почти лет, но я все не могу привыкнуть, что рядом со мной нет моей горячо любимой мамочки, которую при жизни никогда так не называл — стеснялся.

И последнее. Если бы я мог вернуться в прошлое, чтобы навсегда там остаться, я хотел бы, чтобы это был солнечный весенний день, когда бабушка в очках с резинкой вместо дужек вяжет носки, за окном ручьи, сестру не помню, мать приходит с работы с гостинцами от лисички. На матери под дешевеньким пальто кримпленовое платье в розовых цветах, которое ей очень к лицу, и она сама еще молодая, красивая.

На кухонном столе сливки в стеклянной бутылке, полосатая крышечка из фольги, в пакетике полиэтиленовом пряники шоколадные или печенье овсяное.

А я, покачиваясь на стуле, занимаюсь книгоедством.